



**СИН
ТАК
СИС**



24

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

24

ПАРИЖ

1988

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская,
П. Литвинов, Ю. Меклер, М. Окутюрье, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1988

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

БАРСЕЛОНА

4 el Periódico
Miércoles 26 de octubre de 1988

La economía y Stalin el debate de la

LA PERESTROIKA: ¿A ON VA LA UNIÓN SOVIÉTICA?
Перестройка: Куда идет Советский Союз?

LA PERESTROIKA: ¿A DÓNDE VA LA UNIÓN SOVIÉTICA?
CONFERENCIA INTERNACIONAL BARCELONA, 26-27 OCTUBRE 1988

В конце октября 1988 года в Барселоне, под эгидой Фонда им. Пабло Иглесиаса и Института гуманитарных исследований, состоялась конференция на тему "ЛА ПЕРЕСТРОЙКА. Куда идет Советский Союз?"

Идея конференции родилась на Луизианской встрече (Дания, март 1988 года, см. "Синтаксис" №21), и, надо сказать, что за прошедшие между двумя встречами восемь месяцев ситуация в стране (и, соответственно, на конференции) значительно потеплела. Если в Луизиане советские и эмигрантские участники сидели как бы "в профиль", то в Барселоне они уже смотрели в лицо, радостно узнавая и понимая друг друга. Дебаты случались и очень острые, но неизменно дружеские.

Среди русских участников конференции были — экономист Николай Шмелев, редактор "Огонька" Виталий Коротич, редактор "Страны и мира" Кронид Любарский, публицист Анатолий Стреляный, писатели Алесь Адамович, Андрей Синявский и Фазиль Искандер, адвокат Дина Каминская, советские критики Юрий Карякин и Андрей Нуйкин, французский профессор Ефим Григорьевич Этскинд и многие другие. Вместе с ними работали известные западные эксперты по Советскому Союзу: французские экономисты Жак Сапир и Шарль Уревич, английский экономист Алек Нов, итальянский славист Витторио Страда, американская специалистка по советскому праву Луиз Шелли, испанский общественный и политический деятель Фернандо Клаудин и многие другие.

Barcelona
es la sede
de unas jornadas
internacionales
sobre la URSS

Expertos
de todo el mundo
analizan
el cambio
soviético

К. Любарский

ПЕРЕСТРОЙКА И ЭМИГРАЦИЯ

Восемь месяцев назад, на сходной встрече в Дании, куда, как и в Барселону, съехались и советские деятели культуры и эмигранты из СССР, я сделал доклад на тему "Политзаключенные и перестройка". Сегодня я буду говорить на очень близкую тему — эмиграция и перестройка. Близкую потому, что между политзаключенным и эмигрантом много общего: и тот, и другой тяжело наказаны за свои убеждения и открытое их высказывание.

Впрочем, многие из эмигрантов побывали в обоих качествах, и докладчик — в том числе.

Тогда я призвал деятелей культуры содействовать скорейшему освобождению политзаключенных — их и по сей день имеется в Советском Союзе около 250. Сегодня я затрону, в частности, вопрос о необходимости политической реабилитации эмиграции.

Я думаю, что творческая интеллигенция — сейчас единственно серьезный адрес для серьезного разговора. К кому же обращаться еще с призывом о спасении политзаключенных, как не к ней? Ведь не КГБ же просить о помощи? В этой области накоплен уже, слава Богу, опыт многих десятилетий. Может быть, главное, чего уже добилась перестройка, это то, что общественность стала социальной силой, и от ее позиции теперь уже действительно кое-что зависит.

От энергии и настойчивости общественности, и творческой интеллигенции в особенности, зависит судьба политзаключенных, как это показал пример прибалтийских республик, добившихся освобождения "своих" политзаключенных. Зависит от этого и изменение отношения к эмиграции, в первую очередь — политической.

Надо сказать, что за последние месяцы появилась надежда на то, что традиционно отрицательное отношение к политической эмиграции может измениться. Собственно, первые признаки изменений прослеживаются еще с начала 1987 года, со знаменитой публикации "Письма десяти" в "Московских новостях". О самом письме я буду говорить позже, а здесь замечу, что комментаторы "Письма" в "Московских новостях" выработали новую формулу: политэмигранты уже расценивались не как враги народа, не как "продавшиеся", а всего лишь как трусы, "бросившие родину в тяжелое для нее время". Налицо — некое ослабление обвинения, хотя, прямо скажем, странная позиция для патриотов государства, которое и основано-то было выдающимся эмигрантом, оставившим свою страну в трудное для нее время, причем — под гораздо меньшим давлением, чем эмигранты современные.

Формула эта порочна и еще по двум причинам. Во-первых, ее авторы умалчивали о том, что многие эмигранты уже заплатили за свои убеждения многими годами свободы и уезжали, либо поставленные перед альтернативой нового срока — до 10 лет — либо просто в наручниках, в сопровождении офицеров КГБ. При желании, конечно, и это можно назвать добровольным бегством. Во-вторых, обвинение в трусости звучит не очень убедительно в устах людей, которые, физически оставаясь в стране, в той или иной мере работали на "эпоху застоя", а в лучшем случае — уходили во "внутреннюю эмиграцию", нигде и ни в чем активно не заявляя о своих убеждениях. Неясно, чем эта позиция достойнее.

С тех пор прошло почти два года, и отношение к эмиграции изменилось еще более глубоко. Разумеется, я говорю об отношении со стороны "лидеров гонки" — в арьергарде и сейчас еще можно встретить даже непримиримых борцов с "врагами народа". Пожалуй, первое значительное выступление в новом ключе — это статья в тех же МН кинорежиссера Эльдара Рязанова: после этого выступления тема стала открытой. Име-

на знаменитых эмигрантов стали регулярно появляться на страницах газет и журналов в положительном контексте.

Справедливости ради надо заметить, что это случалось и ранее, но касалось лишь мертвых (например, Андрей Тарковский). Теперь стали упоминаемы и живые. В Москву приехал с деловым визитом Юрий Любимов и встретил очень благожелательный прием. Объявлено о предстоящей публикации и даже о съемках фильма по роману Владимира Войновича, которого еще недавно Литгазета называла — вместе с автором этого доклада — в числе "самых злобных и непримиримых врагов". Печатается Наум Коржавин и воспоминания о нем. А совсем недавно "Книжное обозрение" начало энергичную (и, видимо, успешную) кампанию за реабилитацию Александра Солженицына.

Это замечательно. Я уверен, что процесс этот будет и дальше развиваться в том же направлении. Одно в нем меня серьезно беспокоит — политическая реабилитация и призывы к ней касаются лишь людей именитых и знаменитых.

Невольно вспоминаются 30-е годы, когда шла кампания за возвращение "гордости российской культуры" домой. Одни, как Куприн, возвращались; другие, как Шаляпин, с презрением отказывались.

Конечно, разница есть, и существенная. Тогда эта кампания была целиком и полностью организована властью. Значительную долю организованности нетрудно заметить и сейчас, но несомненно, что очень широка и сильна инициатива, так сказать, снизу, — со стороны культурной общественности.

Но и сейчас сильна такая мотивировка: Солженицына надо вернуть, п о т о м у что он выдающийся писатель; Любимова надо вернуть, п о т о м у что он выдающийся режиссер; Неизвестного надо вернуть, п о т о м у что он выдающийся скульптор.

Это неправда. *Не* потому. Их надо вернуть потому, что в отношении их было допущено *беззаконие*. Надо вернуть — точнее предоставить полную возможность вернуться — всем тем, кого силой вытолкнули в эмиграцию, изгнали из страны, лишили гражданства, неважно, носят они знаменитые имена или нет. Ибо практика произвольного изгнания граждан из страны несовместима с понятием правового государства. Прекращение этой практики необходимо не только, и даже не столько для тех, кто изгнан, сколько для самого государства и общества,

если говорить о его демократизации действительно всерьез.

Лишение родины — очень серьезное наказание. И хотя нельзя сказать, что это наказание беспрецедентно (можно вспомнить и древнюю Грецию, и средневековую Испанию, и ренессансную Италию), но в новое время оно применяется, пожалуй, только в нашей стране.

В первом уголовном кодексе РСФСР изгнание из страны рассматривалось как мера уголовного наказания, причем по шкале наказаний она стояла выше смертной казни. Но это, по крайней мере, был закон (*fiat lex sed lex*). Впрочем, мне неизвестно, было ли такое наказание хоть раз применено *по суду*. Зато широко известно, что *без суда*, то есть незаконно, изгнание из страны начало применяться еще во времена Ленина. В сентябре 1922 года из России в Германию была выслана группа примерно из 25 видных философов, историков, литераторов: Н. Бердяев, С. Франк, Ю. Айхенвальд, П. Сорокин, А. Кизеветтер, М. Осоргин и многие другие, с семьями — всего около 75 человек. В то же время на юг, в Константинополь, была выслана другая большая группа ученых и писателей. Всего осенью 1922 года было выслано свыше 160 выдающихся представителей русской интеллигенции.

В сталинские времена эта практика была прервана. Предпочитали людей просто убивать. При Хрущеве случаев высылки как будто не было, но подходило к тому близко: вспомним публично сделанное тов. Семичастным предложение о высылке Пастернака, в связи с чем Борис Леонидович был вынужден обратиться к Хрущеву с просьбой не применять к нему такой меры.

Но в брежневские времена высылка и лишение гражданства начали применяться очень широко. Иногда людей просто вышвыривали под конвоем, порой даже — в наручниках (Солженицын, Буковский). Иногда "отпускали" в гости или по делам с советским паспортом, а затем лишали гражданства, делая невозможным возвращение (Чалидзе, Копелев, Войнович, Ростропович, Григоренко и др.). Иногда вызывали в КГБ и предлагали выбор между арестом и эмиграцией, после чего получение "вызовов" и "разрешений" было уже делом техники. Именно об этих людях до сих пор пишут в советской прессе: "имярек, выехавший в Израиль для воссоединения семьи, а потом оказавшийся в США (или в Западной Германии, или во Франции)".

Самое тревожное состоит в том, что практика эта продолжается и по сей день. Оченью 1986 года был лишен гражданства и насильственно выслан в США проф. Юрий Орлов, член-корреспондент АН Армянской ССР. Совсем недавно, три месяца назад, был лишен гражданства и выслан в Эфиопию известный деятель армянского национального движения Паруйр Айриkyан. Выслан насильственно, причем ни сам Айриkyан, ни — как это ни странно — правительство Эфиопии ничего не знали о том, что происходит, до самого последнего момента.

Еще чаще случаи незначительные. Они происходят с удручающей регулярностью. Так, всего лишь в прошлом месяце были лишены советского гражданства Евгений Соловьев, проживающий во Франции, и Ольга Вяхясало, проживающая в Финляндии.

Как это совершается? Как мотивируется? Лишение гражданства осуществляется Указами ПВС СССР. Мотивировка всегда одна и та же: "За действия, порочащие высокое звание гражданина СССР". Подробности сообщаются редко — обычно в последующих клеветнических статьях в советской прессе.

Вероятно, ПВС СССР просто не сознает, насколько позорна и компрометирующа для советского государства эта формулировка. Сразу высвечивается, что именно порочит "высокое звание гражданина СССР", а что — нет. Убить, изнасиловать, украсть, ограбить советский гражданин вполне может — это его не порочит. Может организовать и возглавить всесоюзную мафию. Может соорудить подземные тюрьмы-зінданы, пытать и убивать сотни безгласных подчиненных. Может воровать миллионы. Все может. Все вполне совместимо с "высоким званием". Чурбанова, Адылова, Кунаева, Медунова, Щелокова никто не лишал советского гражданства. И не лишат.

А вот литературное творчество В.Войновича и Л.Копелева, например, или правозащитные выступления В.Чалидзе — все это с советским гражданством несовместимо. Иногда удается узнать и о причинах лишения гражданства лиц малоизвестных. Вот, например, КГБ СССР разъясняет в газете "Аргументы и факты" причины лишения советского гражданства проживающей в Финляндии Ольги Вяхясало: "Используя международные и внутрисююзные почтовые каналы, она осуществляла враждебную идеологическую обработку известных ей жителей Латвийской ССР, систематически направляла в их адрес антисоветские

пропагандистские материалы". Короче — писала письма и посылала изданные за границей книги. Конечно, это с советским гражданством несовместимо.

Если расшифровать эвфемизмы указов ПВС, то звучать они будут так: "Нам хочется наказать человека, но открыто судить его нам стыдно или страшно".

Ради этого можно вполне растоптать собственные законы. Ссылаются на Закон о гражданстве, который, действительно, наделяет ПВС правом лишения гражданства. Однако "Закон" этот антиконституционен, ибо противоречит статье 160 действующей Конституции СССР: "Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом". ПВС СССР присваивает себе в данном случае прерогативы суда. Более того, Указ ПВС не может быть обжалован, и само принятие Указа производится без заслушивания заинтересованной стороны, и нередко — даже не доводится до ее сведения. Как мы теперь знаем из публикаций в советской прессе (см. "АиФ", №37 за 1988 г.), такие лишения гражданства производятся "по представлению Комитета государственной безопасности". Это означает, что лишение неугодного лица гражданства практически осуществляется односторонним решением КГБ.

Восстановление справедливости по отношению к эмиграции — это не акт жалости по отношению к ним, а шаг, необходимый для формирования правового государства. Существование антиконституционных законов и карательной практики, нарушающей права человека, опасно для всего общества, ибо при изменении социального климата их жертвой может стать буквально любой человек.

Необходимо открыто поднять вопрос как об изменении соответствующего законодательства, так и об аннулировании всех незаконных указов о лишении гражданства.

Я полностью согласен с Эльдаром Рязановым (см. упомянутую его статью), что это должно быть сделано независимо от того, как отнесется к этому сам лишенный гражданства человек. Теперь, по прошествии многих лет, у него могла сложиться уже иная жизнь, и он может не пожелать вернуться. Это его право, и восстановление справедливости по отношению к нему не должно зависеть от того, намерен ли он им воспользоваться.

В конце концов, Пакт о гражданских и политических правах, после его ратификации Советским Союзом, приобрел на его территории силу закона и, значит, должен соблюдаться. А статья 12 этого Пакта гласит: "Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную... Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну".

Я совершенно согласен с Э.Рязановым и в том, что исправление несправедливости должно быть сделано безусловно, без требований покаяний или демонстрации лояльности. Я не согласен только со сделанным им в этой связи замечанием: "Великая страна должна быть великодушной". Великодушие тут ни при чем. Будем надеяться, что это эмигранты будут достаточно великодушны и простят великую страну за содеянное над ними.

Будем надеяться также, что решение этого вопроса близко, и надежда эта основана прежде всего на изменении публичной позиции общественности и творческой интеллигенции. Еще недавно был бы немислим такой значительный документ, как обращение "К деятелям культуры", подписанное 32 видными деятелями культуры во время Одесского кинофестиваля "Золотой Дюк". Авторы его, в частности, потребовали: "Необходимо граждански реабилитировать тех, кого оклеветали, незаконно осудили, вынудили к эмиграции". Огорчает, правда, что обращение это в Одессе так и не было публично зачитано, да и опубликовано оно было, насколько я знаю, лишь в латвийской газете "Советская молодежь". Ничего. В наше время, когда события развиваются паразитически быстро, можно и подождать.

До сих пор я говорил о правовой и нравственной стороне дела. Имеет смысл поговорить и о политической стороне, конкретно — о политическом выигрыше, который получает государство в результате изменения своей политики по отношению к эмигрантам.

Первый выигрыш настолько очевиден, что его можно не обсуждать детально: любой шаг в направлении правового государства укрепляет демократические основы страны, продвигает ее в направлении нормального, естественно развивающегося общества. Не менее очевиден и второй выигрыш — будет остановлена, а может быть, даже повернута вспять "утечка моз-

гов”, от которой в течение столь долгого времени страдает наша страна.

На третьем стоит остановиться подробнее. Роль современной советской политической эмиграции — так называемой третьей — несравнима с той ролью, которую играли эмиграции первая и вторая. Отличие заключается в том, что это первая советская эмиграция, которую с л у ш а ю т. Первую эмиграцию мировое общественное мнение, тогда традиционно левое, просто отвергло, ибо это были для них представители побежденных, желающие свести счеты с победителями.

Вторую эмиграцию просто оставили без внимания, ибо это были для Запада отщепенцы великой страны, только что победившей фашизм. Символом этой эмиграции стал Виктор Кравченко, о котором в памяти осталась лишь кличка “иуда”, но который в сороковые годы делал то, что в годы тридцатые сделал Ф.Раскольников, — сказал правду о сталинском режиме. В суде он выиграл, но в глазах общественного мнения — проиграл.

Судьба третьей эмиграции оказалась иной. Конечно, тут на нее немало поработали предшественники. К тому времени выяснилось, что они говорили правду, и общественное мнение извлекло из этого урок: к словам новых эмигрантов стоит прислушаться. И их стали слушать.

Существенную роль сыграло и сращение эмиграции с правозащитным движением, а последнего — с движением хельсинкским. Исторически получилось так, что правозащитное движение в Советском Союзе, выйдя на мировую арену, побудило многие западные демократические государства, США в первую очередь, сделать проблему прав человека одним из краеугольных камней внешней политики. Эта проблема не была инструментом конфронтации, как любят писать в советской прессе. Вопрос о правах человека был поднят потому, что подлинный мир невозможен без доверия, а значит — без соблюдения прав человека. Права человека перестали быть “внутренним делом” государств. Сейчас это признано и в Советском Союзе.

Международное движение за права человека родило третью корзину Хельсинкских соглашений, которая, в свою очередь, положила начало международному общественному движению по наблюдению за выполнением этих соглашений. Инициатором движения стали советские хельсинкские группы, в первую

очередь — московская во главе с проф. Орловым. Очень многие из советских участников хельсинского движения, как и правозащитного, были вынуждены к эмиграции, но и здесь, в эмиграции, продолжают играть видную общественно-политическую роль.

Я не хочу здесь называть имен, чтобы не заниматься ранжированием по "степени значительности". Занятие это глупое и бессмысленное. Разумеется, важна роль личностей, — многие из них у всех на слуху, но еще важнее коллективная роль эмигрантского сообщества на Западе, во многом формирующего общественное мнение Запада в отношении Советского Союза.

Поэтому и с этой точки зрения нахождение взаимопонимания с эмигрантским сообществом соответствовало бы существенным интересам Советского Союза. Удельный вес этого сообщества не пропорционален его арифметической численности.

Было бы большой ошибкой, если бы нахождение взаимопонимания было истолковано как вербовка "агентов влияния". Речь идет о другом — о проведении открытой и честной политики, которая привлекала бы к себе сторонников именно своей открытостью и честностью. Большинство политических эмигрантов оказались в эмиграции именно потому, что еще в так называемые застойные времена открыто высказывали мысль о необходимости коренных преобразований нашего общества. Именно этот их демократический потенциал можно и нужно использовать — и ничего другого.

Я думаю, что очень большая часть современной политической эмиграции приняла и поддержала происходящие сейчас в Советском Союзе процессы. Приняла в том же смысле, в каком принимает их передовая интеллигенция в самой стране — одобрение принятого общего направления, стремление не слепо следовать событиям, а активно им содействовать, поддерживать все демократические тенденции и противостоять ретроградным, в полном понимании важности начатого и бесконечной удаленности от победы.

Важным условием здесь является признание искренности намерений руководства. Такое признание было бы невозможно ни в отношении брежневского руководства, ни в отношении Андропова и Черненко. Это условие *sine qua non*. Без такого признания никакое взаимодействие было бы невозможным.

Мы ожидаем от советского руководства такого же ответного признания.

Я думаю, что многие из нас видят ситуацию в стране даже в лучшем свете, чем она есть на самом деле. Дело здесь не в неинформированности. Все мы очень пристально следим за развитием событий, и возможности для этого у нас здесь очень велики. Может быть, даже кое-какие тенденции отсюда нам видны лучше, по принципу: "большое видится на расстоянии". Но не исключено и то, что активное желание приблизить хорошее искажает перспективу, и желаемое выдается за действительность. Встречи, подобные барселонской, помогают производить необходимую корректировку.

Готовность поддержать перестройку не означает бездумного одобрения, напротив, предполагает критику всего непоследовательного, нерешительного, некомпетентного. Здесь большую помощь может оказать то, что современные политические эмигранты — это уникальное соединение знания жизни западного демократического общества и понимания нынешних реалий Советского Союза. Это облегчает им критику конструктивную, облегчает поиски решений многих важных проблем нашего общества, решений как разумных, так и реальных. Этот опыт эмиграции разумно было бы по-хозяйски использовать.

Разумеется, эмиграция не едина — столь же не едина, как и современное советское общество. Есть у нас, например, своя собственная "память". Правда, здесь отсутствует, условно говоря, "нин-андреевское" крыло. Такие люди не едут в эмиграцию, им просто некуда ехать — разве что в Албанию или к Ким Ир Сёну. Но зато здесь есть другие, которые, подобно Нине Андреевой, тоже "не могут поступиться принципами". Этот принцип один — противостояние, сопротивление. Раз определив себя в оппозиции, они уже не могут выйти из этой роли — иногда в силу искреннего непонимания, иногда — в силу личных жизненных обстоятельств, когда исчезновение противника означает исчезновение смысла жизни.

Таков, например, "Интернационал сопротивления". Я думаю, не случайно в названии не указано — сопротивления чему. Это фрейдистская проговорка. Кстати, в организационный период эта организация носила определение "демократический", но к учредительному съезду эта конкретизация исчезла.

Еще более трагичен — или, если хотите, комичен — при-

мер Александра Зиновьева, опубликовавшего в №51 "Континента" свой подробный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок: "С чего начать?" Начать, оказывается, надо теперь не с "создания общерусской политической газеты", а с "выработки особой оппозиционной идеологии со своей системой ценностей, со своей системой критериев подхода ко всем жизненно важным явлениям и событиям в мире. Эта идеология должна принципиально отличаться от официальной советской идеологии, чтобы это отличие было очевидно всем и чтобы власти не могли ничего заимствовать из нее..." "Кроме того, идеологическое учение надо распространять в массе населения... На это нужны усилия нескольких поколений энтузиастов даже при условии, что учение уже создано".

Кто же должен создать эту уникальную, с замахом лет на 100, идеологию? Зиновьев отвечает: "Тут нужны не просто массы людей с какими-то интеллектуальными способностями. Тут нужны сильные люди, способные брать интеллектуальные высоты... энтузиасты, для которых дело оппозиции есть дело их жизни". А если вспомнить, что в начале статьи Зиновьев сам представляет себя как человека, для которого "оппозиция к советскому обществу с юности была... делом моей жизни", то все становится на свои места.

Это предельная, до гротескной уродливости, но точная иллюстрация ситуации, когда человек замыкается в противостоянии ради противостояния, мало думая о его смысле и результате. Другие не столь откровенны, но думают сходно.

Подобного рода подход к событиям, происходящим в Советском Союзе, нашел свое программное выражение в знаменитом "Письме десяти" (март 1987 г.), перепечатанном позднее в МН, а через год спустя, уже в марте 1988 г. — в так называемом Кельнском обращении. Надеюсь, что некоторые подписи под ним совершенно случайны и вскоре исчезнут, как исчезли позднее подписи проф. Ю. Орлова или Ю. Любимова под "Письмом десяти". Но для большинства все же это — *profession de foi*.

Когда германские социал-демократы принимали в городах Готе и Эрфурте свои программы, они не называли их "готской" и "эрфуртской". За них это сделали историки, признавшие историческую значительность документов. Авторы "Обращения" ничего не хотят оставлять на волю случая и сами, помо-

гая историкам, окрестили его "Кельнским": вдруг не заметят!

В "Обращениях" поражают даже не просто передержки, вроде утверждения, что "Советский Союз остается милитаристской империей с маниакальными экспансионистскими претензиями" — такие сильные утверждения не мешало бы доказать. Поражает прежде всего огульное отрицание всех сдвигов, реально происшедших в нашей стране, которые объявлены всего лишь иллюзией. Думаю, что для многих подписавших — это результат крайне низкой информированности. Но не только.

Поражает и убогость выводов: "Итак, заключаем: не "гласность", а свобода слова. Не "перестройка", а строительство заново. Не "ускорение", а естественный, свойственный великим свободным странам подъем". Эта жалкая афористичность распадается буквально на глазах. Ко дню принятия "Обращения" слово "ускорение" вот уже более года как исчезло даже со страниц советских газет, так что "подписанты" воюют с призраками. Неясно, почему свобода слова противопоставлена гласности. Они не исключают, а дополняют друг друга, просто они касаются нескольких разных сторон общественной жизни. Что же касается "строительства заново" вместо перестройки, то мы уже пытались однажды "старый мир разрушить до основания, а затем наш новый мир построить". Результаты общеизвестны.

Я думаю, что честное и деловое сотрудничество всех искренне заинтересованных в радикальных преобразованиях общества, будь то по ту или по эту сторону границы, со временем позволит преодолеть подобные тенденции в среде эмиграции, как это случилось, например, с Ю.Любимовым. Но для этого действительно нужна работа.

Мне бы хотелось закончить этот доклад теми же словами, какими я закончил свой доклад в Дании в марте этого года:

"Многие правозащитники — я отношусь к их числу — не верят, что демократизация и экономическое возрождение страны возможны на пути социализма. Тем не менее мы готовы — в который уже раз! — оказать тем, кто думает иначе, кредит доверия. Мы готовы, если опыт перестройки это покажет, признать свою неправоту. Это непереносимое условие честного диалога. Но мы ожидаем, что и те, кто с нами несогласен, столь же откровенно признают свою неправоту, если избранный сейчас путь результатов не даст, и не закроют возможности иных путей. В конце концов социализм именуется научным, и как

всякая наука, должен признать приоритет эксперимента”.

Посмотрим, кто окажется прав. Пока же, пытаясь сформулировать свою нынешнюю позицию, я не могу найти более точных слов, чем слова Герцена, сказанные им в связи с реформами Александра II. О них недавно напомнил Натан Эйдельман:

”Мы идем с тем, кто освобождает, *пока* он освобождает”.

БАРСЕЛОНА

В.Коротич — из тезисов:

...Перестройка — восстание против сталинщины, сталинского неуважения к человеку, против признания нас “винтиками” и больше никем. Мы устали от того, что нас столько раз заворачивали против резьбы.

Мы устали от бессмысленности приказов, которых никто не выполнял, от обещаний, в которые никто не верил. Отвергнув сталинскую самодержавность, мы должны были принять ответственность на себя и начать многое не только обсуждать — делать по-новому. Как? Ответственность за сегодняшний день всегда более сложна и обязывающа, чем абстрактная ответственность за светлое будущее. К этой-то конкретности многие из нас не готовы.

Ю.Карякин — из выступления:

... Чтобы перестройка сделалась действительно необратимой, надо, по-моему, прежде всего трезво, бесстрашно и даже, если угодно, жестоко представить себе, осознать, что будет, если она погибнет. Представить, осознать так, чтобы этот путь, путь отступления, провала, катастрофы, стал **в в я в е о т в р а т и т е л е н** всему нашему обществу, а потому — закрыт, отрезан, “заказан”.

Что будет, если перестройка погибнет? Будет **ЧЕРНОБЫЛЬ**. Универсальный — экономический и политический, социальный и национальный, идеологический и духовно-нравственный. И это произойдет как бы по плану, в результате вполне сознательных, целеустремленных усилий тех, для кого нет ничего выше корыстных интересов и привилегий.

La URSS debe endeudarse en el extr

La economía, ta

PILAR BONET, Barr

La caída del ritmo de crecimiento económico URSS es un síntoma del saneamiento de la mía —el talón de Aquiles de la perestroik— según señaló ayer el profesor soviético Shmeliov, partidario de que la URSS se en el extranjero —a razón de 4.000 o 5.0

El estado de la economía soviética fue ayer el eje de la discusión en el simposio *La Perestroik* —

vera
sov
idea

Las autoridades soviéticas tienen miedo al 'destape'

En la URSS está prohibido poner en cuestión el carácter socialista del sistema, informar con detalle de lo que sucede en otros países del bloque socialista y expresar dudas sobre la dirección del país, según manifestó ayer Anatolí Streliany, un escritor y periodista soviético cuyo estado de ánimo está más determinado por "lo vetado" que por "lo permitido" hoy por hoy. Streliany tiene a veces la impresión de que la libertad de información y expresión planificada desde el poder ha "tocado techo" en la URSS y acusa a las autoridades soviéticas de intentar "erradicar con un denuedo provinciano" algo comparable al destape que se produjo en España tras la muerte de Franco.

Streliany, de 49 años, es uno de los pioneros en la publicación de artículos críticos en el terreno económico, no gusta de los "pa-

la democratización es imposible pararse, por mucho que uno quiera. Uno va o adelante o hacia atrás, pero no puede mantenerse

Анатолий Стреляный

ПОСТЕПЕННОСТЬ — САМОЦЕЛЬ?

Когда с самой высокой трибуны было впервые заявлено, что восьмидесятые годы Советский Союз встретил в предкризисном состоянии, некоторые из нас решили, что это было сказано слишком мягко, хотя, по судебным меркам семидесятых годов, и за этот к л е в е т н и ч е с к и й вывод полагался с р о к. Нам казалось, что мы уже давно живем в стране, охваченной глубоким всесторонним кризисом, который вот-вот разрешится чем-то неопределенно-ужасным.

Однако Михаил Горбачев с его советниками был, пожалуй, прав. До кризиса, до такой температуры, при которой перестают действовать все обычные рычаги управления, не дошло даже сейчас, спустя три с лишним года.

О п р е д к р и з и с е и ни о чем большем свидетельствует то, как вяло и поверхностно совершаются преобразования, которые были обещаны народу после того, как в привычной обстановке траурной помпезности проводили в последний путь незадачливого генсека Черненко, собиравшегося увековечить, как он выражался, брежневский стиль работы. Положение в народном хозяйстве ухудшается, но еще не достигло такой степени, чтобы реформаторы были вынуждены хотя бы отказаться от разрушительного по самой природе централизованного командного планирования.

Продолжают держать на привязи и печать.

Разрешено, правда, многое, разрешено такое, о чем до Горбачева и не мечтали: разоблачать Сталина, критиковать индустриализацию и коллективизацию, воспевать кое-кого из расстрелянных в тридцатые годы виднейших оппозиционеров, без обязательного восторга разбирать произведения почти всех высших руководителей Союза писателей СССР (вольность, которая пишущую братию пьянит не меньше, чем то, что газеты могут сообщать о некоторых крупных забастовках и массовых выступлениях). Однако руководителям печати напоминают, что открыто спорить с газетой "Правда" нельзя, поскольку она центральный орган партии, а что ЦК и Политбюро критике не подлежат, — само собой разумеется.

Каждый день подчеркиваются и другие н е л ь з я, так что настроение многих из нас по-прежнему определяется не столько тем, что нам сегодня позволено, сколько тем, что — запрещено. Что запрещено, то и болит. Вернее, наоборот: что больше всего болит, то и запрещено.

Запрещено доводить народ до сомнения, что то, что у нас построено, — социализм. Резко осуждены первые попытки не совсем апологетического разбора деятельности и взглядов Ленина. "Как мало надо верить в его правоту и величие, — сказал мне один из твердых ленинцев, каковых у нас еще немало, — чтобы бояться, что его авторитет не выдержит свободного критического анализа на родине ленинизма!" Нельзя обсуждать вопрос о сокращении армии, без чего ее не оздоровить. Нельзя подробно и правдиво писать о том, что происходит в Польше и в Румынии, как, впрочем, и в любой другой б р а т с к о й стране. Нельзя вслух мечтать о независимости массовой печати и многопартийности. Пресса призвана всячески способствовать укреплению руководящей роли одной партии, но статью, в которой вы попытаетесь показать, что не партия правит тем же Госпланом, а Госплан — партией, и возгласите: коль она одна и правящая, так пусть все-таки правит, — статью, продиктованную такой заботой о повышении роли КПСС, не пропустят.

Особенно строгий запрет наложен на вопросы, есть ли у наших руководителей программа действий, на выражения опасений, что вместо стратегии нам еще долго будут предлагать тактику — тактику малых шагов в неопределенном направлении.

Создается впечатление, что власть считает, что запланированный ею уровень гласности и свободы слова достигнут. Испугались первых признаков того, что происходило в Испании сразу после Франко: так называемого ДЕСТАПО, повального обнажения. Испугались — и с наивно-хмурой старательностью взялись пресекать.

В самом начале многие с готовностью искали оправдания каждому неверному высочайшему шагу: новым людям трудно, надо их понять, у них противники, надо маневрировать и т.д. и т.п. Первое, что требует справедливость и сейчас, — действительно попробовать объяснить наметившийся новый застой благими намерениями. Но все-таки... Что она, собственно, дает и может дать — политика жесткого, подчас открыто недоброжелательного сдерживания общественного темперамента? — все чаще спрашиваем мы друг друга. Приближает она кризис или отдаляет и даже предотвращает его? Кто может это сказать? Вопрос тем более трудный, что не всякий кризис однозначно нежелателен. Болезни, протекающие бескризисно, бывают, как известно, чреватые особенно тяжелыми, необратимыми последствиями. Кризисы расчищают строительную площадку. Лучший из близких нам примеров — Польша. ПОРП в своей перестройке пошла уже намного дальше, чем КПСС, но спрашивается: сумела бы она это сделать, если бы не знаменитые польские кризисы?

Бесспорно, кажется, одно. Какими бы добрыми ни были намерения тех, кто отвешивает гласность и свободу слова наравне с другими дефицитными товарами, цена, которую страна платит за это дозирование, очень велика. Речь идет об определенном разочаровании. Слов нет, паника может оказаться зряшной, но беда от этого не уменьшится, паника есть паника. Беда в том, что в таких делах, как демократизация, невозможно остановиться, даже если очень этого хочешь. Или вперед, или назад, на одном месте не потопчешься. Попытка удержаться на одном месте оборачивается откатом назад. Особенно неприятно, если это происходит вопреки тому, что задумывалось, — тогда маятник может отлететь слишком далеко. С мыслью, не произошло ли это, многие начинают каждый новый день.

Государство, которое в конце двадцатого века решает за гражданина с высшим образованием, что ему читать из художественного, подвергает себя исключительному риску. Об этом

говорят у нас в эти дни, в эти минуты, когда из уст в уста передаются будто бы сказанные в Кремле или на Старой площади слова: "Солженицын нам не нужен". Об этом говорят не экстремисты, а вполне уравновешенные, но думающие люди, обеспокоенные тем, не становится ли политика постепенно самоцелью. Эта политика вызывает не только уныние, но и любопытные, подчас весьма дельные возражения. В одной из рукописей, которые не могут быть сейчас у нас напечатаны, я недавно прочитал призыв самым серьезным образом задуматься над опытом тех стран, где "застойное прошлое" преодолевалось другими, чем у нас, методами и темпами. "Смогла бы Германия, — пишет автор, молодой экономист, — поверженная, морально опустошенная, за одно десятилетие превратиться в "локомотив Европы", если бы она не пошла на сокрушительный разрыв с идеологией, политикой и системой тоталитарной власти? Что было бы, если бы эта страна стала бы шаг за шагом, медленно, по крупицам, отторгать от себя "не оправдавшие" и "опорочившие себя" элементы авторитарной идеологии? Экономическое чудо ФРГ было обеспечено решительной сменой идеологии и конституированием экономического либерализма в чрезвычайные сроки. Уже в 1948 году идеология свободного рыночного хозяйства стала там правительственной программой".

Нам, похоже, предстоят трудные времена. Для того, чтобы провести подлинно радикальные реформы, *предкризиса* оказалось мало. Остается надеяться на кризис. Хотелось бы, чтобы был он благотворным, творческим. Но знать бы, каким он будет!..

Когда мое выступление прочитали мои друзья, они сказали, что я должен считаться с тем, что буду неправильно понят. Журналисты, мол, объявят, что я не просто предвижу кризис, а призываю его, причем, в понятие кризис вкладываю-де нечто очень страшное. У нас возникла дискуссия, и я сказал, что могу привести примеры таких явлений в сегодняшней нашей жизни, которые можно рассматривать как первые признаки предстоящего благотворного кризиса. Газеты сообщают о случаях, когда колхозы и совхозы то здесь, то там явочным порядком выходят из РАПО — то есть из-под власти государственного ведомства, управляющего агропромышленным комплексом. Есть заводы, отказывающиеся подчиняться своим министерствам и с вызовом объявляющие об этом во всеуслышанье. Кто

мог предположить еще вчера, что борьба за демократизацию, в данном случае — за демократизацию хозяйственной жизни может принять такие кощунственно-революционные, с точки зрения правоверного тоталитариста, формы? Непослушание отдельного лица, протест группы людей, даже всего рабочего персонала предприятия — это одно, это знакомо, но бунт предприятия со всей его администрацией, с партийным, профсоюзным и комсомольским комитетами — это другое, небывалое, непредвиденное.

Это поистине творчество масс, низов, здесь администрация и персонал не противостоят друг другу, а солидарно и действительно по-революционному берут себе права, нужные им для эффективной деятельности. Причем, это бунтующее творчество одобряется высшим политическим руководством, которое, как кажется, само временами изнемогает под давлением ведомственного империализма. Я встречал у нас образованных ленинцев, которые именно с этим явлением связывают чуть ли не все свои надежды. Вот вам один пример... Кто знает, сколько колхозов и совхозов, сколько заводов должны взбунтоваться, чтобы это количество перешло в качество, обрело характер кризиса, который многократно ускорит процесс выработки и принятия кардинальных экономических и политических решений?

Само собой разумеется, мне было сказано, что я экстремист. Это одно из недоразумений последних лет: называть экстремизмом мнение о том, что разрыв с прошлым должен быть резким, что пропасть надо преодолевать все-таки в один прыжок. Показательно для наших нравов: эту точку зрения многие *постепеновцы*, особенно руководящие, считают не просто ошибочной, но и предосудительной, опасной, заслуживающей прямо-таки наказания. А ведь она выражает, как я замечаю, отнюдь не только нетерпение и прочие подобные юношеские чувства. Она исходит из анализа, не менее строго и спокойного, чем тот, на который опираются *постепеновцы*. Кто может сказать с уверенностью, кто может дать гарантию с приложением подписи и печати, что постепенность не будет означать постепенного накопления трудностей и недовольства, которое в один несчастный день все равно обернется тем, чего сейчас хотят избежать посредством тактики малых шагов? А раз такой гарантии дать нельзя, то я думаю, что было бы дальновидно со сто-

роны властей пустить эту мысль в печать, пусть бы общество как следует с нею повозилось — это подготовило бы население к вполне вероятным резким переменам. Народ надо готовить ко всем вариантам. Вопрос о способах и сроках революционных, по сути, преобразований — вопрос слишком серьезный, чтобы считать его уже решенным.

Я допускаю, что жестоко ошибаюсь, считая более убедительными взгляды и предложения "экстремистов-рыночников" (экстремисты-нерыночники меня не интересуют, это по части психиатров). Но мне хотелось бы, чтобы и постепеновцы допускали, что они тоже могут ошибиться, тем более, что их разочарование, в случае моей правоты, будет более горьким.

БАРСЕЛОНА

Николай ШМЕЛЕВ — из выступления:



Начался постепенный, но реальный процесс ухода партии из экономики, ухода из текущей экономической жизни, из оперативного управления экономическими процессами. Это не значит, что партия, оставаясь правящей партией, уйдет полностью из экономической жизни. Любое общество должно иметь какой-то генеральный штаб, и, вероятно, стратегические функции Центрального Комитета останутся. Это — первое.

Второе. Может быть, не очень громкой, но реальной дискуссией поставлена под сомнение система государственного управления экономикой через отраслевые министерства. И возможно, что в близком будущем основная часть промышленных министерств будет ликвидирована. Основной порок министерской системы управления предприятиями — это абсолютная экономическая безответственность министерств по отношению к тем, кем они управляют. Вместо этого выдвигается принцип, когда либо консорциум, либо концерн, либо синдикат будет на

паях содержаться предприятием, перед которым он будет нести экономическую ответственность. Плохо будет управлять — предприятие просто откажет в финансировании. Таким образом, система обратной связи, система экономической ответственности, по крайней мере, поставлена сейчас как рабочая задача. И первый признак того, что это не просто дискуссия, а уже реальный процесс, — то, что фактически заявлено на самом высоком уровне, что система Агропрома должна быть ликвидирована — на всех уровнях, начиная от района и кончая Центральным агропромышленным комитетом. Это уже рабочая задача.

Третий положительный момент: если в чем-то была партийная конференция единодушна, то все проклинали промышленные министерства, которые в начале этого года, несмотря на принятый новый закон о предприятиях, сделали очень серьезную попытку задушить ребенка еще в колыбели, установив под видом госзаказа ту же систему директивного планирования — порядка 90% промышленного производства подпадало под категорию госзаказа. Это вызвало удивление даже у наиболее консервативно настроенных участников партийной конференции, на этом пункте были согласны все. Итог — на следующий год: под госзаказ, т.е. под директивное планирование, подпадет не более 40-42% промышленного производства. Это серьезный шаг вперед. Параллельно с этим — это, собственно, одно и то же — ускорен процесс перехода на оптовую торговлю средствами производства, т.е. на создание второго рынка. Рынок потребительских товаров, плохой или хороший, есть. Теперь задача создать рынок средств производства, потом рынок капитала и потом валютный рынок и рынок рабочей силы. Пока из этих пяти рынков создание второго рынка делается практической задачей, и если сейчас оптовая торговля это не больше 10% производства средств производства, то на следующий год — вполне вероятно, что это будет величина порядка 30-35%.

Чудовищна инерция системы, которая создавалась и жила 60 лет, которая живет своей жизнью, которая даже не зависит от того, кто этой системой управляет — хорошие люди или плохие, злые или добрые — это уже неважно. Она имеет свою собственную логику движения. Остановить ее сразу — невозможно, это как невозможно сразу остановить автомобиль. Са-

мое болезненное в этой системе то, что она ориентирована на количественный рост без всякого взвешивания — а нужен нам этот рост или не нужен? Сейчас, фактически, начали мы об этом говорить, это становится постепенно общепринятой мыслью и даже у руководства, что не нужны нам сейчас не только высокие темпы роста, а вообще никакие темпы роста. Нам нужен на несколько лет нулевой рост. Рост нужен только в отраслях так называемой высокой технологии — вся эта электроника... но это небольшой сектор, в Америке это процентов восемь промышленного валового продукта. Ни в какой традиционной области нам никакой рост не нужен.

Reforma de la gestión

Entre la perestroika (reconstrucción) y la aceleración (otro de los componentes de la reforma económica combatido por una

Est
entri
lela.
rev
deli

Валерий ЧАЛИДЗЕ — из выступления:

...Очищение страны может быть достигнуто не покаянием или взаимными обвинениями, а готовностью жить иначе. В ситуации, когда кризис страны осознан страной, когда большинство народа хочет из этого кризиса выйти (если это так!), в этой ситуации должна прийти на ум идея прощения прежних грехов. Прощения без забвения, ибо отказ от анализа прежних бед социально вреден.

Прощение должно прежде всего выразиться в отказе от поисков козла отпущения. Но этого недостаточно. Нужно отказаться от юридического преследования коррумпированных бюрократов по обвинениям за действия, совершенные до перестройки, скажем, до 1987 года. Всех не посадишь, коррупция была распространена слишком широко, а избирательные преследования — это пощечина праву, это продолжение произвола тех, кто имеет власть отбирать, кого преследовать. Одновременно это — шантаж почти всего слоя бюрократии, создание напряженности, которая вряд ли совместима с желанием перестройщиков видеть бюрократию работающей по-новому. Объявление амнистии по соответствующим статьям Уголовного кодекса означает начало новой жизни для многих бюрократов, начало очищения. Я имею в виду статьи о взяточничестве, хозяйственных преступлениях, частнопредпринимательской деятельности с использованием государственных форм и

т.п. в случаях, когда преступление не связано с насилием или с действиями против правосудия. Многие из осужденных по этим статьям пострадали вполне заслуженно, но не будем забывать, что среди них много стрелочников, принесенных в жертву вышестоящими ворами, много таких, кто просто не смог откупиться. Освобождение таких второстепенных виновных — справедливо.

Такая амнистия освободила бы от страха тех, кто помнит за собой грехи, и освободила бы от наказания тех, кто уже осужден. Последнее означает дополнительную социальную пользу. В условиях, когда правительство делает ставку на кооперативы, освобождение деятелей второй экономики — разумный шаг. Эти люди пытались проявить свой предпринимательский талант, когда это было незаконно. Разумно, чтобы теперь их талант служил обществу.

Comienzo en Barcelona el simposio 'La perestroika.

La crítica a Lenin enfr

Витторио СТРАДА — из выступления:

J. M. MARTELLONI Barcel
La crítica a Lenin por parte de los expertos occidentales y la de Lenin su política, o por lo menos de una parte de ella, por los historiados soviéticos marcaron ayer la sesión inaugural del simposio 'La perestroika.

...Не составило бы труда присоединиться к хору официального советского антисталинизма и принять участие в демонстрации Сталина, превратив его в козла отпущения за все зло в России и в мире. Это было бы несложно, но исторически и политически это была бы некорректная и вводящая в заблуждение акция, потому что Сталин только укрепил коммунистический тоталитаризм, но создал его не он. Основы советского тоталитаризма были заложены большевистской революцией и ее великим демиургом — Лениным, а фашистский тоталитаризм лишь обезьянничал, противопоставив себя одновременно и либерализму и коммунизму. Разумеется, Ленин и Сталин далеко не одно и то же. Но тот, кто стремится представить их антиподами, вводит себя и других в заблуждение. Дело не в детерминистском установлении генеалогии, автоматически ведущей от Маркса к Ленину и от Ленина к Сталину, а в понимании политических и интеллектуальных предпосылок и структур, которые обусловлены сложными конкретными условиями исторического развития. Сейчас модно рассуждать об "альтернативах" и "неосуществившихся возможностях" советской истории, как будто Сталин оказался и так долго оставался у власти случайно. Как всегда в истории, всякая утвердившаяся ли-

ния развития предполагает наличие более или менее широкого пучка потенциальных возможностей, которые не получили реализации, и историк, конечно же, должен выявить все, что имело в зачатке. Но это только в целях объяснения того, что воплотилось в законченный организм. Иначе ему лучше поменять профессию и заняться исторической фантастикой или же стать придворным идеологом власти, которая заинтересована в манипулировании прошлым. Историческая генетика принципиально отличается от биологической, но она может, пользуясь собственными методами, объяснить, почему Маркс породил Ленина, а Ленин — Сталина, а в целом — коммунистический тоталитаризм.

Вопрос о России — это вопрос о том, почему именно здесь идеи Маркса нашли наиболее благодатную почву и почему здесь, в отличие от Западной Европы, эти идеи не лишились постепенно своей тотально-революционной силы, не превратились наравне с другими в простые интеллектуальные стимулы, а развили весь свой потенциал, и деструктивный, и конструктивный, и, развитые Лениным, стали решающей силой в нашем столетии. /.../ Напомню только, что уже в начале века в русской демократической и социалистической культуре высказывались предостережения о возможности, так сказать, “сталинского” исхода ленинизма, что известно всякому, кто знаком с дискуссиями вокруг ленинских “Что делать?”, “Партийная организация и партийная литература”, “Материализм и эмпириокритицизм” и вообще с критикой Ленина со стороны Петра Струве, Георгия Плеханова, Юлия Мартова и других. Серьезная и честная критика сталинизма невозможна в отрыве от той критики, которой ленинизм подвергался еще задолго до 1917 года, и некоторое время после него.

Тоталитаризм не был вызван дьявольскими кознями горстки неизвестно откуда взявшихся индивидуумов с криминальными наклонностями. Если бы это было так, нам пришлось бы отказаться от поисков каких бы то ни было рациональных объяснений. Феномен тоталитаризма коренится в русской и немецкой, а также в итальянской культуре и — более широко — в культуре европейской. Но в России его зарождению способствовала, помимо культурных влияний, — от Руссо до Гегеля и Маркса — специфическая ситуация недоразвитости или относительного отставания в развитии по сравнению с европейским Западом. Внутри этой ситуации сформировалась /.../ “народническая (популистская) логика”. Эта логика навязывает историческому развитию и историческому действию сознательное и планомерное ускорение всего процесса культурной

эволюции и такую власть, которая, подобно Архимедову рычагу, позволила бы осуществить такой проект. Ленин придает этой логике, в соответствии с духом и буквой марксизма, универсальный характер, усматривая в русской революции пружину революции мировой, а затем, когда эта последняя оказывается миражом, превращает Россию в ее лабораторию и штаб. На этой почве и стал возможен "сталинский феномен", и поэтому нельзя превращать Сталина в простого преступника: спору нет, он был преступник, но он был и революционер, и вне революционной коммунистической культуры становятся необъяснимы ни он, ни его культ, причем не только в России, но и в мире. Нелепо спрашивать: неизбежен Сталин или нет?" Главное, он "был", и это требует объяснения.

La economía centró

El éxito de la "pe la reforma del sis

Зденек МЛЫНАРЖ — из выступления:

...Я считаю совершенно правильным тезис Коротича о том, что демократия не может подняться выше, чем уровень развития данного общества. Поэтому я думаю, что надо считаться с тем, какая именно вторая партия могла бы возникнуть при условии совсем свободного творчества масс. Может быть, я ошибаюсь, но, к сожалению, я опасаюсь, что она могла бы называться "Память".

...В принципе, я согласен с тем подходом, который проявил в понимании того, что такое компартия Советского Союза, Валерий Чалидзе: это не партия, это не класс, это не часть, — это попытка создать, как на официальном языке говорят, *авангард*, какой-то руководящий центр общества. Но если это так, то я считаю главным вопросом вопрос о выработке критериев, дающих право считаться авангардом или руководящим центром общества. И вопрос о развитии демократии в Советском Союзе сегодня, на мой взгляд, это не столько вопрос о развитии демократии для общества, сколько, прежде всего, вопрос качественного изменения самой властвующей элиты как социального слоя. И если это такое общество, в котором даже властвующая элита не умеет решать свои организационные проблемы демократически, то тогда первый шаг — это добиться, чтобы к элите принадлежал не тот, кто покорно выполняет приказы сверху, а тот, кто способен достигать лучших результатов на практике. Теперь, при Горбачеве, это, похоже, становится практическим критерием.

Третье короткое замечание связано с опытом 68-го года в Чехословакии. Это вопрос о нескольких партиях. У нас в стране была традиция многопартийной системы, которая к тому моменту, к 68-ому году, была прервана на 20 лет. И партия, которая должна была вот-вот создаться — фактически это должна была быть социал-демократическая партия, — называлась Либеральная демократическая социалистическая партия. И вот опрос общественного мнения, который производился обычными принятыми на Западе методами, показал, что 80% населения было за то, чтобы создать партию, независимую от коммунистической. Среди членов компартии за создание этой второй партии высказалось 67%...

Но что интересно, одновременно всем участникам опроса был поставлен вопрос: а за кого бы вы проголосовали, если бы выборы проводились завтра? За новую партию? За старую компартию? Или за те три партии, которые есть у нас и сегодня формально. Результаты получились интересные: 40% за коммунистов (это были перестроечники, я бы сказал) и 11% за эту новую партию, которую требовало 80% населения...

Бояться введения многопартийности в стране, где есть традиция, есть привычка к демократии, по-моему, не надо, но там, где нет условий — а я думаю, что в России сегодня нет условий, — это может оказаться пагубным для всей реформы, если с этого начинать. Потому что, поскольку система власти централизована, сконцентрирована в одних руках и существует абсолютная власть, то начинать с борьбы, кому вот эта абсолютная власть должна принадлежать, той же коммунистической партии или какой-то новой, которая будет, — это катастрофа, это политическое самоубийство, это не политика реформ. Думаю, что Бог не царя хранит, а Михаила Сергеевича, чтобы он не начинал с такого вот эксперимента...

Al menos 167 presos políticos, ~ ~

PILAR BUNLI. Barcelona
— 167 personas permanecen aún hoy en

ros de conciencia dada por Sajarov la pasada primavera. Sajarov solo tenía en cuenta una categoría, los prisioneros juz-

en astronomía -
dena por activistas en 1972. Si
actu...

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ — из интервью Би-Би-Си:

— Для нашего человека достаточно 10 минут в любой из западных стран, чтобы понять все. Но эти десять минут надо провести в первом попавшемся продовольственном магазине.

Зиновий Зиник

НА ОБРАТНОМ ПУТИ

1.

Есть какая-то связь между абсолютным географическим расстоянием между двумя пунктами и масштабом времени преодоления этого расстояния: несмотря на рост скоростей, что-то всегда происходит во время пути, что растягивает время преодоления расстояния, приравнивая его к натуральной пешеходной соразмерности нашей жизни, к нашему антропологическому разумению географии. Три часа между Лондоном и Москвой на высоте трех тысяч метров после тринадцати лет разлуки — слишком неправдоподобно. Я уже видел внизу в иллюминаторе покрытую, как пятнами проказы, лишаями запорошенного снега, грязную заскорузлую ноябрьскую землю. Но начался снежный буран, и посадку не дали, пришлось лететь в Хельсинки (родину соглашений и компромиссов по правам человека) на подзаправку горючим, и мы приземлились в Шереметьево чуть ли не шестью часами позже. Дорога к дому отца проходила по улице Горького. Когда мы миновали здание Центрального телеграфа, часы на фасаде под гербовыми советскими колосьями, обрамляющими земной шар, показывали ноль ноль часов ноль ноль минут: начался иной отсчет времени — советский. В этой машине времени расстояние искажается еще

и идеологическим препятствием, как бы восстанавливая географическую разобщенность.

Первым делом, после приезда отец заставил меня выполнить административные указания для въезжающего по гостевой визе и отправиться в ОВИР на регистрацию — туда же, где тринадцать лет назад я получал эмиграционную визу, уверенный, что уже никогда в жизни не увижу Москвы. На этот раз девушка взяла мой британский паспорт и сказала: “за паспортом приходите завтра”. Я послушно повернулся к двери, и на какую-то долю мгновения мне померещилось, что отсюда уже не вырваться, что уже не докажешь своего подданства британской короне, что снова начнутся все те же сомнения и мечтания, мучительное решение российских проблем вины и соучастия, дилеммы между протестом и арестом. Обтреплются быстро кашмировое пальто и пиджак шотландского твида, порвутся английские кожаные туфли, и я стану неотличим от остальных советских граждан.

У ступенек все того же Центрального телеграфа, где у меня была встреча с друзьями, как будто из-под земли, появилась тетка в телогрейке, с метлой из березовых прутьев, и стала мети асфальт, поднимая столб пыли, похожий на атомный гриб; с точки зрения городской гигиены действия ее были бессмысленны и абсурдны — они носили автоматический машинальный характер выполнения символического долга, и она продолжала свое черное, в буквальном смысле, дело, как будто играя театральную роль, нет, не театральную, а кино-роль — из голливудского китча про отсталую, дикую, замызганную Россию. Как чумные карантинные, столовые и рестораны в Москве закрываются в непредсказуемые часы на “санитарный час”, который может длиться и три часа, перетекая незаметно в странный для заведений, где обедают, “обеденный перерыв”. Кроме, кстати, визуального смещения времен, не следует забывать еще об одном аспекте визитов на родину — о запахах. Выяснилось, что ностальгия — это болезнь носа, ностальгия, когда тоска по родине отшибает память на запахи. Мы забыли, как дурно пахнет население в городском транспорте, какая чудовищная вонь стоит в подъездах московских домов, какой зловонный чад в заведениях общепита. Пищевые же продукты возникают в самых непредсказуемых местах (например, бутерброды в кооперативной общественной уборной “Лотос”). Под арками у вхо-

да в театр им. Станиславского, рядом с афишей, где крупными буквами выведено название премьеры "Собачьего сердца", женщина в шляпке двадцатых годов продавала с нэпмановского лотка колбасу-салами — часть ли это спектакля, или же колбаса, которую она продает, изготовлена из собачьего сердца? Что делают жития святых и катехизисы в истрепанных обложках свиной кожи в букинистической лавке в Столешниковом переулке, где толкуются люди из дореволюционных времен, до этого отстоявшие очередь в кондитерской напротив за дефицитной советской кос-халвой? Какое, милые, тысячелетие на дворе? Из-за огромных зимних шапок люди казались марсианами-головастиками. Они пытались пересечь необычную и до кошмарности грандиозную по ширине улицу. Пересекая такую улицу, можно жениться, успеть родить детей и умереть. Пересекать улицу разрешается лишь по подземным переходам, всегда вызывавшим у меня в памяти ссылки на подсознательное, но и эти подземные ходы нашей мысли расположены друг от друга на расстоянии, как минимум, километра. Это улицы, спланированные откуда-то сверху, с небесных высот, с марсианской точки зрения. (Лишь искушенному в архитектуре специалисту известно, что театр Советской Армии устроен в виде пятиконечной звезды по контуру — если смотреть сверху, с птичьего полета.) Город не приспособлен для жилья, он был создан, как и все в сталинской стране, не ради конкретной цели, подразумеваемой в названии, а для чего-то еще. Предметы, литература, собачье сердце и даже идеология существуют не сами по себе, а для подтверждения какой-то иной, высшей доктрины.

Если визуально жизнь города все еще ностальгирует по сталинскому фасаду, речь страны все еще заключена, как в скорлупу кашеера ореха, в речь сталинской эпохи, трансформировавшуюся в хрущевизмы и брежневизмы, но оставшуюся в сущности неизменной. На этот музейный шедевр советского классицизма голодная, затурканная, измученная и озлобленная толпа, взирает через заблеванное стекло вагона электрички или, скажем, сквозь витрину магазина "Диета", забитую на сегодняшний день сверху донизу однообразными, как в поп-арте Энди Уорхола, пачками картонок под названием "драже диетическое". Магазин "Диета" я упомянул неслучайно, потому что в мою эпоху проживания на Пушкинской улице магазин этот назывался "Колбасы": Потом колбасы не стало. Человек,

соблюдающий диету, в колбасе не нуждается. Вместо того, чтобы обеспечить поставки колбасы, руководство решило переименовать магазин. Как всегда, лингвистика восторжествовала над реальностью, как торжествует она в присутствии фиктивной — для виду — рекламе несуществующих товаров, в подражание Западу: неоновые огни необходимы как символ процветания.

Оболочка, заплатанный мундир прежнего языка трещит по швам и потому, что за граница стала приближаться с самолетной скоростью, и с этой скоростью не может конкурировать ни один переводной механизм, а тем более в национальных масштабах. Подобное происходило в колониальной Африке, и если такси проще всего поймать в Москве, размахивая пачкой "Мальборо", понятно, что Советский Союз, семимильными шагами уходя в западном направлении от сталинизма, с той же бешеной скоростью приближается к Третьему миру. "Биф-гриль" (по аналогии, очевидно, с "биф-штексом") написано русскими буквами на кулинарном ларьке-фургончике у входа в отель "Интурист". Там меня впервые встречали как иностранца. Подобные отели до сих пор для обыкновенных советских граждан полузапертая инвалютная зона, и войти туда на правах иностранца было для меня путешествием Алисы в Зазеркалье. Десятилетье лондонской жизни наложило, судя по всему, неизгладимый отпечаток на мою внешность, и, не спросив паспорта, швейцар тут же указал мне на сувенирный ларек, где заодно продавалось и баночное пиво, недоступное советским людям. Отвергнув мою кредитную карточку "American Express" и потребовав наличные, продавщица произнесла в оправдание эпохальную макароническую фразу, путая два языка: "Машинка брокен" — машинка сломалась. Так говорят одесские евреи на Брайтон-бич в Нью-Йорке. Теперь так говорят в самых шикарных отелях г. Москвы, где меня принимали за безбедного англичанина.

2.

Но и сам я постепенно стал чувствовать себя в Москве несомненным иностранцем. Скажем, сидя в вагоне метро, поймал себя на том, что думаю: а как спросить на здешнем языке, какая следующая остановка? — тут же сообразив, что вокруг все

говорят по-русски. Ощущение чуть ли не физического соприкосновения с языком — от всех тех прежних, но забытых тобой клише, составлявших наш ежедневный общественный быт. Эти клише и наклейки реальности не изменились и поэтому звучат ностальгически, и чем сильнее их "советскость", тем ностальгичнее картина. Надписи в метро ("Не прислоняться", "По эскалатору бежать запрещается", "Стойте справа, проходите слева", "Уступайте места пассажирам с детьми, пожилым и инвалидам" и т.д.) звучат как поэзия. Последняя из процитированных мною надписей в метро очень быстро превратилась в уме от долгого декламирования во что-то вроде: "Уступайте места пожилым детям". "Пожилые дети" — так воспринимается население глазами властей. Даже название станций объявляется как педагогическое наставление, как поэтическое упражнение в пропедевтике. Я, наконец, разгадал уникальную абсурдность интонации этих объявлений: они звучат как парадные призывы, как провозглашение на весь мир этапов большого и трудного пути к светлому будущему от станции "Проспект Маркса" до "Преображенки". Со строгой, сдержанной, предупреждающей о трудностях и возможных неудачах, но навязчиво призывающей к стойкости, с чекистской интонацией пассажирам объявляется станция "Площадь Дзержинского". Осторожно, двери закрываются. Но постепенно голос крепнет, трудности — уже совершенно ясно — будут преодолены, и, наконец, когда нам объявляют о станции "Преображенская площадь", кажется, что запели ангелы, объявляя о Преображении Господнем. Такая же ностальгическая, с патетикой, официозность звучала по репродукторам во время демонстрации трудящихся на Красной площади — лозунги были другие, но патриотические взвизги в голосах мужчины и женщины, выполнявших традиционную роль тамады на этом параде-демонстрации ("Идут трудящиеся Красной Пресни!") были те же, что и в эпоху застоя, и в эпоху борьбы с левизной в коммунизме, как те же, в сущности, тропы, метонимии и синекдохи звучат в передовицах.

Однако эта речевая скорлупа официозна, эти лозунги эпохи советского классицизма уже давно превратились в пародию. Новые поспешно создаваемые идолы и доктрины превращаются в посмешище и самопародию у всех на глазах с еще большим ускорением, чем в прежних перестройках. Страна живет в состоянии самопародии. Это чувствуют партийные и руководя-

щие органы. В результате на ноябрьские праздники мне не удалось поностальгировать, любясь монструозными портретами членов Политбюро: они исчезли. Огни праздника были как будто притушены, но заменить опостылевшую всем парафеналию советизмов было нечем. Не было призывов к победе. На ветру бился плакат "С праздником!", причем атмосфера празднеств была настолько приглушена, что казалось, там, в конце этого лозунга, подразумевается не восклицательный, а вопросительный знак: "С праздником?" — А с каким, собственно, праздником? Руководство, официоз, уже непонятно кто — те, кто активно жил и работал все эти страшные годы, а не эмигрировал и не отсиживался в подполье? — эти люди, эти круги клеймят прошлое, как нечто, искажившее идеалы советской власти и революции. (Когда у меня на таможне отбирали изданные в Париже русские издания моих романов на дополнительную проверку, сказав, что в них чувствуется уже нечто такое, что "выходит за рамки даже нынешних установлений", я воспользовался той же логикой, возразив: "Не может быть — все это было написано в эпоху застоя!") Но все мы догадываемся, что без Сталина не было бы советской власти не только в ее нынешнем виде, а ни в каком виде вообще, потому что подобную власть невозможно удержать и навязать ее населению без сталинского террора; мы знаем и то, что без Брежнева, доведшего сталинский классицизм до полного цинизма и абсурда — и тем самым де-идеологизировавшего систему, — без этого морального разложения невозможны были бы нынешние либеральные реформы и отмена цензуры. То, что официоз и эстеблишмент сейчас с энтузиазмом разоблачает и осуждает, поэты и прозаики *соц-арта*, художники *фото-соца* (фото-соц-реализма) и артисты коммерческого *поп-соца* пытаются утвердить, как бы говоря: ан нет, вы у нас не отнимете то, без чего нашей жизни не было бы — не было бы нашего унижения и ваших оскорблений, нашего страдания и вашего процветания. Другой круг бежит от той же унижительной самопародийности и убожества советской жизни в русскую дореволюционную традицию, в затравленную сталинскими цензорами культуру от Мандельштама до Набокова. По иронии судьбы, эта, когда-то замордованная, культура в своей рафинированности, иерархичности и классицизме на редкость близка духу нынешнего анти-сталинского мещанина. Люди эти, скорбно прикрывая глаза ру-

кой, говорят, что ничего не изменилось. Не замечая, что говорят они о том, что ничего не изменилось, крайне громко, крайне публично и крайне настойчиво — за что еще недавно можно было получить несколько лет лагерей строгого режима. Как и за то, что я говорил на своем, совершенно официальном, выступлении в московском литературном клубе при Всероссийском Объединении "Творческие мастерские". Как еще недавно люди попадали в лагеря за ту литературу, которую я в этот визит открыто провозил через советскую границу.

Люди избавились от страха, но оказалось, что слюной страха скреплялось все глиняное ласточкино гнездо советской жизни. Доктрина стала трещать по швам, и вместе с этой рухнувшей идеей города-страха стал разваливаться и сам город-гнездо (поскольку в советской цивилизации слово всегда предшествует делу). Дома обрушиваются в буквальном смысле. Я в какой-то момент даже подумал, что слово "перестройка" у всех на языке не по политическим соображениям, а потому, что город перестраивается: куда ни глянь — везде строительные заборы. Но приглядевшись повнимательней, я понял, что большинство заборов — какие-то странные, да и вообще не заборы, а деревянные надстройки с крышей над тротуарами — чтобы предохранить головы прохожих от рушащейся кладки стен, облицовки, балконов. На одном из жилых корпусов в самом центре, на задах улицы Горького, висит пугающее предупреждение: "Не приближаться к фасаду здания ближе, чем на два метра!" Фасад советского здания все еще внушает страх. Ходить по улицам все еще небезопасно. Надо постоянно глядеть по сторонам. Я забыл, что прохожие в Москве не смотрят друг другу в глаза. Страшно трудно посмотреть друг другу в глаза после всего того, что происходило за последнее десятилетие моего отсутствия. Прошлое обрушивается на тебя не все целиком, единой стеной, а внезапно и непредсказуемо, ударяя наискось в висок, кирпичом разрушающейся кладки, падающим со свистом непонятно откуда. Сверху.

3.

Мы уезжали в ту эпоху, когда отъезд приравнялся чуть ли не к гражданскому подвигу, акту самопожертвования, восхитительному по своей самоубийственной безоглядности. Да-

же те, кто кричал: "Предатели, на кого вы нас оставляете", — подозревали самих себя, остающихся, в заурядной трусости или просто беспомощности и нерешительности, догадываясь, что если советская страна и тонущий корабль, отъезжанты — отнюдь не крысы. Бывают, кроме крыс, бегущих с тонущего корабля, еще и крысы, отсиживающиеся по углам. Несколько лет спустя ситуация изменилась; мы, уехавшие, стали испытывать чувство вины по отношению к оставшимся; пока мы тут развлекаемся литературными экзерсисами и эмигрантской полемикой, "они" "там" "страдают". И, наконец, уже совсем недавно, из разных советских углов стал раздаваться крысиный писк насчет того, что пока мы, мол, здесь страдали в отсидке (по углам, очевидно), вы, мол, занимались у себя литературными экзерсисами и эмигрантской полемикой.

"Кто чувствует себя более виноватым — тот, кто сидит в тюрьме, неспособный ничем помочь своим товарищам; или же тот, кто сумел вырваться за тюремные стены, бросив тюремных товарищей на произвол судьбы? Не пятнает ли каждый заключенный свою совесть кооперацией с тюремным режимом в результате самого факта требования в тюрьме и общения с тюремной администрацией; а тот, кто оказался вне тюремных стен, — разве не освободил он себя от какой-либо ответственности за происходящее в тюрьме? Если только не наоборот: тот, кто в тюрьме, настолько лишен каких-либо прав личной ответственности за происходящее, что его просто невозможно обвинить в соучастии; в то время как тот, кто оказался вне тюремных стен, обладает массой возможностей изменить положение и поэтому должен острее ощущать свою вину за соучастие в страшном происходящем. И, оставаясь в тюремных стенах, не освобождается ли наш товарищ от каких-либо внешних, материалистических, извне навязанных условностей цивилизации, обретая то, что в России привыкли называть "внутренней" свободой, "духовностью", противопоставляя эту духовность западному "материализму?" Кроме всех этих диалектизмов, существовали еще и запутанные разговоры, неразрешенные личные споры и ложно выстроенные в разлуке счеты, неизбежные, когда живешь по разные стороны понимания того, что значат покой и воля.

Однако подобные глубокомысленные противопоставления "внутренней" и "внешней" свободы, эмиграции и метропо-

лии, Востока и Запада, партии и народа, материи и духа и т.д. и т.п. мыслимы лишь при наличии тюремной стены, разлучающей решетки, административного запугивания. Стоило снять наручники, отомкнуть тюремные замки — и тут же выяснилось, что этические концепции о нравственном превосходстве страдания в сравнении с буржуазным благополучием потеряли свой пафос: в отсутствии стен, решеток и шор стало очевидно, что все равны в возможностях духовного роста и моральной высоты. Встреча с Москвой устранила воображаемые, нафантазированные в темноте политизолятора обиды. Произошло примирение с прошлым. Мы уже не по разные стороны моральных баррикад, воздвигнутых нами же вместе с побегом, отъездом, эмиграцией. Мы лишь по разные стороны той треснувшей мертвой скорлупы, которая мешает свободно разговаривать нам обоим.

То, что происходит с нами на личном уровне, происходит и со всей страной: попытка выстроить нормальные отношения друг с другом и с обществом — его болезненным прошлым и все еще патологическим настоящим. Это — патология однопартийной диктатуры, пытающейся имитировать парламентскую демократию; это — и патология утопического мышления, пытающегося перевоспитать всех и каждого, и, тем не менее, настаивающего на праве каждого выбирать свободно свой собственный образ жизни и ход мышления. И тем не менее, в этой новой раздвоенности и разобщенности я видел тех, кто пытается сохранить и трезвость ума, и сердечную прямоту; кто пытается найти новые формы речи — лишённые шарлатанской возвышенности, раздающей медали за моральную правоту, и демагогического взвизга, оповещающего о новых идеологических врагах. То, что лондонские оптимисты воспринимают как реабилитацию идеалов социализма с человеческим лицом, есть, в действительности, уникальная попытка отыскать словарь общения, не запятанный, не развращенный традиционной российской дидактикой, морализированием, фальшивым утопизмом мышления.

Стандартный вопрос лондонских друзей после Москвы: "Возвращаться обратно не собираетесь?" Никто лучше англичан не знает, что подобное возвращение невозможно: "The past is a foreign country: they do things differently there" ("Прошлое — чужая страна: там другие обычаи") А эмигрировать еще раз я не собираюсь. Тринадцать лет назад советская жизнь из за-

секреченного от властей настоящего превратились для меня в прошлое, очерченное, как сюжетной линией, советской границей, кордоном, — отделенное, как спектакль, железным занавесом. Прошлое стало законченным, как роман, и я понял, что эмиграция для меня — прозаика — литературный прием. Возвращение в Москву — это как побывать в собственном романе, превратившись из автора в одного из персонажей. Как персонаж я не изменился, как, впрочем, не изменились и мои герои, оставшиеся в Москве; точнее, я менялся вместе с ними, следуя издалека за переменами в их жизни — по письмам, телефонным разговорам, благодаря встречам с общими знакомыми, которым было доступно чудо пересечения советской границы. И вот это чудо стало доступно мне, и я вновь оказался там, откуда начал. Наше настоящее — лондонское и московское — совместились. И тут же стало ясно, что хотя в отношении тамошней, московской жизни, ни я, ни они не изменились — потому что для обеих сторон эта жизнь состояла в продолжении прежних московских отношений, — мой внутренний глаз автора (некоторая остраненность) все-таки чувствуется: это и был взгляд иностранца, участника другой, лондонской жизни, о которой они могли лишь строить догадки; потому что в Лондоне, в отличие от Москвы, у меня (и у моих лондонских героев) с ними не было общего прошлого. Мое лондонское настоящее для них — пока лишь будущее (если не сломается "машинка" времени). В моей "авторской" остраненности есть, однако, и свои достоинства: романист immoralен в отношении собственных персонажей — будь то злодей или герой, автор любит их всех.

Ноябрь 1988

А. Сиявский

ПОХВАЛА ЭМИГРАЦИИ

Что такое для меня эмиграция? Это шум города издалека — чужестранного города, пение пилы или сверла, шелест автомашины, кто-то поливает цветы из кишки в соседнем садике, звонят колокола, бьют часы на башне, и весь этот смешанный гул источает содержание, очень далекое от тебя, но по-своему значительное, исполненное смысла, на фоне которого, может быть, ты и грустишь немного, но и радуешься втайне: живут люди...

Это чужой язык на улицах, в который ты не вслушиваешься, звучащий как щебетание птиц. На этом фоне ты живешь, пишешь, отгороженный фоном от жизни, все больше и глубже погружаясь в свою задумчивость. Мне легче без языка: я вас не касаюсь. Я слушаю говор другой улицы, подведенной к моей голове.

В отличие от многих эмигрантов, я не испытываю ностальгии. От нее заранее отучила меня тюрьма — точнее говоря, ощущение, что ты, человек, себе не принадлежишь и тебя в любой момент могут переправить куда угодно: со свободы в лагерь, из лагеря на свободу или в другой лагерь, или в ссылку, или в эмиграцию. В результате таких "пересадок" вырабатывается привычка. Ну, пересадили в эмиграцию. Чего еще тебе надо? Ведь твои рукописи с самого начала были эмигрантами.

Чтобы это представить понятнее, сошлюсь на один сон,

Речь при вручении премии "Писатель в изгнании" в Баварской Академии изящных искусств (декабрь 1988 г.)

который мне периодически снится. Мне снится, что я нахожусь в лагере, отбывая уже второй срок за то, что написал в эмиграции. Лагерь совсем не страшный, обыкновенный лагерь, в котором я уже бывал по первому сроку, и даже иногда, во сне, я встречаю там старых моих лагерных друзей и знакомых. И думаю во сне: — Ну, хорошо, отсижу второй срок, но как мне после этого выбраться назад, во Францию, где я смогу писать? Наверно, придется выбираться через Израиль”.

В итоге позволю себе сказать несколько добрых слов о том полезном и хорошем, что дала мне эмиграция. Конечно, это лишь небольшой аспект писательско-эмигрантской темы, притом — взятый из моего, сугубо личного опыта. И все же, находясь в эмиграции уже пятнадцать с лишним лет, мне хотелось бы положительно осмыслить этот опыт. Как говорил мне в лагере один старик: — Писателю и умирать полезно! Но если даже умирать полезно, то почему нельзя извлечь позитивный смысл из факта эмиграции?..

В русской филологической науке начала XX века появилась такой термин: остранение. Термин “остранение” происходит от слова “странно”. Из него следует, что писатель вообще или, во всяком случае, некоторые писатели видят мир, самый обычный мир, как своего рода странность и потому эту странность изображают.

Простейший случай — Гулливер в стране лилипутов, где лилипуты в одном эпизоде выступают в роли писателей и потому описывают, как нечто странное, необычайное, самые обычные вещи, извлеченные из карманов Гулливера: носовой платок, гребенку, карманные часы...

В широком смысле всякое искусство, возможно, это и есть “остранение”. Искусство смотрит на мир новыми глазами, как бы не узнавая его, и пытается — в который раз — доискаться, что же это такое. Или, как говорил Пастернак, искусство начинается с того, что мы перестаем узнавать действительность.

В этом качестве эмиграция может помочь писателю. Ведь попадая в эмиграцию, писатель становится иностранцем. Причем — в двойном значении он оказывается иностранцем: и по отношению к странам, в которые он эмигрировал, и по отношению к собственной, родной стране, откуда он уехал и, по-видимому, навсегда. И он перестает узнавать действительность и пытается ее изобразить и осознать наново, исходя сразу из двух

точек своего острого, своего иностранного положения.

Попробую это пояснить моим собственным опытом двойного иностранца. Проходя по маленьким улочкам старинных городов Европы, я не понимаю, что же это такое, и вдруг вижу — книгу. Книгу, написанную когда-то очень давно. Странную книгу. Поля в этой книге расположены не по краям листа, а посередине страницы — в виде очень убористой, выложенной плотным камнем мостовой. А шрифт находится там, где обычно у книги располагаются поля, — по краям, в виде нависающих над моей головой домов. Иногда же текст лежит под ногами, как мостовая, а дома представляются свайными постройками. И я не знаю в результате — что подо мною? Улица или страница? Город или книга? А может быть, и то, и другое?

Должен сознаться, что, и работая над текстом, я начал воспринимать его более пространственно, в более разветвленной и визуальной форме — в образах архитектуры и густо пересеченных ландшафтов. Это, мне кажется, влияние географии на форму прозы. Дело не в содержании. Ведь описываешь-то все равно, в основном, собственную жизнь. Но окружающие ландшафты меняют стиль, а для меня стиль — это главное. В Европе после России попадаешь в новые пространственные измерения, и это как-то соответствует твоим внутренним задачам в построении фразы, в построении абзаца. Меня, в частности, особенно занимает проблема прозы как пространства. Границы раздвигаются, и, попав за границу, ты становишься подданным территории более раскидистой (символом Европы для меня стало раскидистое дерево в парке, в отличие от лесов и степей России), за которой стеной горизонта вновь встает колючая проволока.

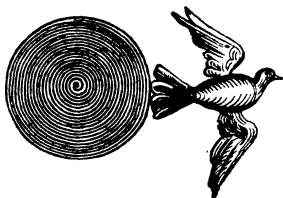
Но можно рассуждать шире. Мне одновременно на Западе неизмеримо шире открылось то, что можно назвать воздухом и пространством истории. Может быть, отчасти это случилось потому, что из советского человека я в качестве эмигранта, по советскому выражению, был выброшен на задворки истории и в виде отброса ничего уже не делаю, а только созерцаю. Наверное, все люди рано или поздно, прижизненно или посмертно — оказываются на задворках истории. Просто в эмиграции это лучше и раньше доступно обозрению. Как-то яснее понимаешь, что все — пройдет.

Однако, рядом с этим, выброшенному на западный берег

человеку становится виднее многомерность жизни. Наступает конец однолинейному сознанию в восприятии истории. Здесь воочию убеждаешься, что история развивается не по какому-то одному установленному руслу, а многими путями, порою весьма извилистыми, рождая изысканный и причудливый рисунок разных культур, городов и народов. Конечно, теоретически я и раньше об этом знал, но знал отвлеченно, умозрительно, а здесь этим дышишь, это впитываешь. Причем различные исторические слои подчас переплетаются. На европейском Западе Средние Века или эпоха Ренессанса не кажутся уж такими далекими. Так же как в Израиле, я вдруг заметил, что Библия здесь становится необыкновенно достоверной — достоверностью места, где все это совершалось. Такого в России я никогда не замечал. История оказывается у тебя под боком, причем сразу в нескольких срезах и вперемешку с современностью.

И, наконец, книга, на мой взгляд, пишется за границей действительности, за границей общепринятого, доступного, и даже за границей сознания. Не знаю, как у других авторов, но мне, прежде чем что-то написать, нужно дойти до каких-то границ жизни и попытаться их перейти, чтобы увидеть — искусство.

Книги пишутся в молчании. В полном молчании. В просторах одиночества.



С. Харламов

”ДЕЛО ТУХАЧЕВСКОГО”: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что уходя, не умело убрать своих последствий.

В. О. Ключевский

Вот уже более полувека минуло с тех пор, как в 1937 году нашу страну потрясла вторая волна массовых репрессий (первая прокатилась в 1929-1934 годах). Особенностью ее было то, что на плаху пошли власть имущие и интеллектуальная элита советского общества. Многие видные деятели коммунистической партии были тогда оклеветаны и осуждены. Старое, то есть вышедшее из революции и гражданской войны, партийное руководство было уничтожено почти целиком. Исчезали полностью районные, областные, краевые, республиканские партийные комитеты, некоторые из них подвергались безжалостному погрому несколько раз. Из 1966 делегатов XVII съезда ВКП(б) (1934 год) были репрессированы 1108, подавляющее большинство из которых погибло. Из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета, избранных на XVII съезде партии, 110 были расстреляны или покончили жизнь самоубийством (правда, двое из них — Л.П.Берия и М.Д.Багиров — были уничтожены уже после смерти Сталина (1)). Жертвой сталинского террора пали многие советские, хозяйственные, профсоюзные и комсомольские руководители.

Журнальный вариант главы из книги ”Альтернативная история Коммунистической партии Советского Союза”.

Прислано из России.

По заявлению Сталина на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года, в 1934—1938 годах на руководящую работу было выдвинуто 500 тысяч молодых большевиков (2). Они заняли места репрессированных.

Всего же за годы так называемой "ежовщины" (сентябрь 1936 — декабрь 1938) было арестовано около 1 миллиона коммунистов (из них 250—300 тысяч было расстреляно) и около 6,5 миллиона беспартийных (из них 600—700 тысяч было расстреляно) (2-а).

Особенно тяжелый урон понесли командные кадры Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР — в 1937-1938 годах было репрессировано более 40 тысяч командиров (2-б). В эпицентре того губительного тайфуна, который бушевал среди военных, находилось "Дело Тухачевского", или "Дело о военно-фашистском заговоре". Далеко не все его обстоятельства до сих пор ясны до конца. Кроме того, поиск истины здесь осложняется тем, что за истекшие десятилетия вокруг этого "дела" было воздвигнуто много искусственных, конъюнктурных конструкций. Их разрушение, равно как и воссоздание основных контуров подлинной истории трагической гибели Тухачевского и его товарищей являются целью данной статьи.

11 июня 1937 года в "Правде" было опубликовано сообщение Прокуратуры Союза ССР, в котором говорилось об аресте группы высших советских военачальников. Они обвинялись в том, что состояли "в антигосударственных связях с руководящими кругами одного из иностранных государств, ведущего недружественную политику в отношении СССР. Находясь на службе у военной разведки этого государства, обвиняемые систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения о состоянии Красной Армии, вели вредительскую работу на ослабление мощи Красной Армии, пытались подготовить на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать расчленению Советского Союза и восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов". В число арестованных военачальников входили 1-ый заместитель Наркома обороны, начальник Главного управления боевой подготовки Наркомата обороны, Маршал Советского Союза, кандидат в члены ЦК ВКП(б) и член ЦИК СССР М.Н.Тухачевский, командующий войсками Киевского военного округа, командарм 1-го ранга,

член ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР И.Э. Якир, командующий войсками Белорусского военного округа, командарм 1-го ранга, кандидат в члены ЦК ВКП(б) и член ЦИК СССР И.П. Уборевич, начальник Военной академии имени М.В. Фрунзе, командарм 2-го ранга, член ЦИК СССР А.И. Корк, начальник Главного управления Наркомата обороны по начальствующему составу Красной Армии комкор Б.М. Фельдман, председатель Центрального Совета Осоавиахима, комкор, член ЦИК СССР Р.П. Эйдемман, военный атташе СССР в Англии комкор В.К. Путна, заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа комкор В.М. Примаков. Кроме того, в числе "изменников" был назван заместитель Наркома обороны, начальник Политуправления Красной Армии, армейский комиссар 1-го ранга, член ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР Я.Б. Гамарник, о самоубийстве которого было официально объявлено 1 июня. В отличие от жертв прежних репрессивных ударов, против Тухачевского и его товарищей по несчастью не велось какой-либо пропагандистской кампании. Для подавляющего большинства людей — как в Советском Союзе, так и вне его — новость об "измене" известных командиров Красной Армии была ошеломляющей неожиданностью.

12 июня "Правда" сообщила о том, что над Тухачевским и другими арестованными состоялся суд, признавший их виновными "в шпионаже и измене Родине" и приговоривший всех их к расстрелу. Приговор исполнили, не мешкая, в 24 часа. 13 июня в "Правде" можно было прочитать: "Вчера, 12 сего июня, приведен в исполнение приговор Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — расстрелу: Тухачевского М.Н., Якира И.Э., Уборевича И.П., Корка А.И., Эйдемана Р.П., Фельдмана Б.М., Примакова В.М. и Путны В.К.". В этом же номере газеты был опубликован приказ Наркома обороны СССР К.Е. Ворошилова № 96 от 12 июня 1937 года, в котором говорилось о "преступлениях" расстрелянных военачальников, о том, что "для достижения... своей предательской цели фашистские заговорщики не стеснялись в выборе средств: они готовили убийства руководителей Партии и Правительства". Отмечалось и то, что они "сознались в своем предательстве, вредительстве и шпионаже".

Командиры, ставшие жертвой жестоких репрессий в июне

1937 года, были ведущими членами группы военных, объединенных вокруг Тухачевского общей заботой о создании эффективной современной армии. Действительно, именно им принадлежала главная заслуга в техническом перевооружении Красной Армии и совершенствовании ее организационной структуры, в развитии новых видов и родов войск — авиации, механизированных и воздушно-десантных войск. Они были инициаторами создания ряда военных академий. Тухачевский и его единомышленники уделяли серьезное внимание прогнозированию характера будущей войны, особенно ее начального этапа, а также детальной разработке военной доктрины Советского государства. Именно они сыграли ведущую роль в формировании теории глубокой операции, которая указала выход военному искусству из "позиционного тупика". Эта теория была последним словом военной мысли того времени и предвосхитила немецкую тактику глубокого прорыва. К сожалению, теория Тухачевского и его товарищей после их гибели была отвергнута как "вредительская", и советским военачальникам лишь в ходе войны с фашистской Германией, перенеся тяжкие испытания, пришлось возвратиться к ней (3).

Велики были и боевые заслуги репрессированных военных. Тухачевский в 1919 году командовал 5-й армией Восточного фронта, которая внесла решающий вклад в разгром войск адмирала Колчака; Кавказским фронтом, сражавшимся против войск генерала Деникина; Западным фронтом во время советско-польской войны; руководил подавлением Кронштадтского восстания и ликвидацией антоновщины в Тамбовской губернии (4). Даже Сталин признавал тогда Тухачевского "завоевателем Сибири и победителем Колчака" (5). Одним из первых постановлением Президиума ВЦИК Тухачевский был награжден Почетным революционным оружием (всею такой награды были удостоены 20 человек) (6). Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман командовали в годы гражданской войны армиями и группами войск, а Фельдман, Примаков и Путна — корпусами и дивизиями. Якир, Уборевич, Примаков и Путна были награждены тремя орденами Красного Знамени, что тогда представляло собой явление исключительное. Однако боевые заслуги вряд ли помогли им в 1937 году — скорее наоборот.

Как раз в годы гражданской войны возникла острая неприязнь Сталина к Тухачевскому и некоторым из его друзей.

После тяжелого поражения советских войск Западного фронта (командующий Тухачевский, члены РВС И.С.Уншлихт, И.Т.Смилга и Ф.Э.Дзержинский) в августе 1920 года в битве за Варшаву начались ожесточенные споры относительно его виновников. В конце концов большинство советских военных специалистов пришло к выводу, что значительная доля вины за неудачу под Варшавой лежит на командовании Юго-Западного фронта (командующий А.И.Егоров, члены РВС Сталин, Р.И.Берзин и Х.Г.Раковский). В самом деле, в то время как основные силы Красной Армии под командованием Тухачевского пытались овладеть Варшавой, войска Юго-Западного фронта, в состав которых входила и 1-ая Конная армия (командующий С.М.Буденный, члены РВС Ворошилов и С.К.Минин), наступали на Львов. Таким образом, два советских фронта двигались в расходящихся направлениях. С невероятным упорством приказывал Главкомандующего Вооруженными силами Республики С.С.Каменева, одобренные ЦК РКП(б), двинуть 1-ую Конную, 12 и 14 армии на север, то есть на помощь Тухачевскому, игнорировались командованием Юго-Западного фронта. Более того, когда Егоров отдал все-таки приказ о передаче трех армий Западному фронту, член РВС Сталин демонстративно отказался подписать этот приказ и сообщил о своем решении Главкому. Кстати сказать, телеграмму Сталина Главкому об отказе подписать приказ Егорова удалось опубликовать только в 1962 году (7). Лишь после длительной телеграфной переписки приказ о передаче трех армий Западному фронту был подписан вместо Сталина другим членом РВС фронта Берзиным. И только вечером 16 августа (на третий день польского контрнаступления под Варшавой) злополучный приказ был получен 1-ой Конной Армией. Реввоенсовет 1-ой Конной телеграммой на имя Тухачевского сообщил, что армия выйти из боя не может, части ее находятся на подступах ко Львову и войдут в город 17 августа. РВС 1-ой Конной не был в курсе замыслов Главкома и к тому же был дезориентирован Сталиным и, видимо, в угоду ему, сознательно противился переброске армии. Львов взять не удалось, и 20 августа кавалерия Буденного начала движение на север. Но было уже поздно. Командующий Западным фронтом Тухачевский отдал своим войскам приказ об отступлении (8). В.Д.Бонч-Бруевич в своей книге "На боевых постах Февральской и Октябрьской революций" приводит

красноречивое высказывание В.И. Ленина по поводу безответственных действий командования Юго-Западного фронта: "Ну кто же на Варшаву ходит через Львов?" (9).

Вопрос о причинах поражения Западного фронта в августе 1920 года подробно обсуждался на занятиях в военных академиях и на страницах ряда военных журналов и военно-исторических трудов. Сам Тухачевский включился в дискуссию, написав книгу "Поход за Вислу". В ней он утверждал, что приказ Главкома о переброске 1-ой Конной армии и других воинских соединений для усиления левого фланга Западного фронта мог быть безусловно выполнен, объективных препятствий для этого не было. Однако переброска началась непростительно поздно и поэтому не позволила предотвратить поражение под Варшавой. Несомненно, что подобные рассуждения мучительно терзали самолюбие Сталина. Когда он поставил под свой контроль историческую науку, весь неприятный для него эпизод советско-польской войны был радикально переписан: наступление на Львов стали прославлять как стратегически верное, а приказ Главкома о передислокации части войск Юго-Западного фронта на север и просьбы Тухачевского о помощи объявили "вредительскими" и "предательскими" (10). Более того, Сталин был провозглашен крупнейшим полководцем гражданской войны. Видные командиры Красной Армии знали, что это ложь. Сталин был способен заставить их молчать или даже участвовать в кампании безудержного восхваления своего "полководческого дара", но не мог заставить их поверить в него, не мог вытравить из их памяти факты минувшей войны. Сталин хорошо понимал это и не желал с этим мириться. Он знал и то, что уже само существование прославленных героев гражданской войны в корне подрывает легенду об особых заслугах его в организации побед Красной Армии в борьбе против белогвардейцев и интервентов. Поэтому вряд ли будет заблуждением предположение о том, что неприязнь злопамятного и мстительного Сталина к Тухачевскому и многим другим командирам времен гражданской войны и стремление увенчать себя лаврами непобедимого, гениального полководца сыграли немало важную роль в их трагической судьбе. Разумеется, это отнюдь не означает, что мотивы Сталина тем и исчерпывались. Им, конечно, двигали и более значительные соображения.

В течение 20 лет — с 1937 по 1957 — считалось, что Туха-

чевский и другие видные военные деятели понесли суровое, но вполне справедливое возмездие за свою "преступную", "предательско-контрреволюционную" деятельность. Этот миф стал разваливаться после XX съезда КПСС и окончательно рухнул в январе 1957 года, когда Тухачевский и его товарищи были полностью реабилитированы (11).

Однако сразу же возник другой миф – миф об обманутом гитлеровскими спецслужбами Сталине. Его широкому распространению и даже проникновению в труды советских писателей и историков способствовало выступление Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева на XXII съезде партии, когда он, в частности, сказал: "Как-то в зарубежной печати промелькнуло довольно любопытное сообщение, будто бы Гитлер, готовя нападение на нашу страну, через свою разведку подбросил сфабрикованный документ о том, что товарищи Якир, Тухачевский и другие являются агентами немецкого генерального штаба. Этот "документ", якобы секретный, попал к президенту Чехословакии Бенешу, и тот, в свою очередь, руководствуясь, видимо, добрыми намерениями, переслал его Сталину. Якир, Тухачевский и другие товарищи были арестованы, а вслед за тем и уничтожены" (12). Здесь мы не рассматриваем вопрос о том, имел ли руководитель правящей партии право ограничиваться ссылкой только на "любопытное сообщение" в зарубежной печати при объяснении причин столь важного события. В провозглашенной на съезде формулировке он фактически солидаризировался с этим сообщением. Опираясь на это авторитетное заявление, советские писатели и историки, как уже было отмечено, стали пользоваться предложенной версией. Так, например, в книге Льва Никулина "Тухачевский. (Биографический очерк)" можно прочитать о том, что по приказу Гитлера глава фашистской "Службы безопасности" (СД) Рейнхард Гейдрих организовал изготовление клеветнических документов против Тухачевского и переправку их Сталину. "Расчет был верен: Сталин сделал то, на что надеялись Гитлер и Гейдрих, зная его характер, мстительность и подозрительность" (13). В мае 1987 года известный советский историк А.М. Самсонов ретанимировал эту версию событий, заявив: "...стремясь ослабить Советский Союз, немецкие фашисты сфабриковали фальшивые документы о якобы существовавшем контрреволюционном заговоре среди высшего командования Красной Армии –

так называемом "заговоре Тухачевского". Германские документы были хитроумно переправлены через Прагу в Москву, чудовищная провокация удалась. Ее жертвами стали крупнейшие советские военачальники..." (14).

Наиболее же детально версия об успешно проведенной гитлеровскими спецслужбами операции по компрометации советской военной верхушки в глазах политического руководства разрабатывалась в книгах, изданных на Западе, — воспоминаниях и исследованиях. Из таких книг, как "Секретный фронт" В.Хагена, "Дело Тухачевского" В.Александрова, "Мемуары" Э.Бенеша, "Вторая мировая война" У.Черчилля, "Мемуары" В.Шелленберга и некоторых других (14-а), можно узнать, что в Восточном отделе фашистской "Службы безопасности" была сфабрикована так называемая "Красная папка" с фальшивками для Сталина. Отрицать этот конкретный факт нет никаких оснований. Однако усматривать в секретной операции гитлеровских разведчиков причину истребления высших командиров Красной Армии было бы глубоким заблуждением. Поэтому есть смысл восстановить подробности фашистской провокации с тем, чтобы выяснить ее реальную, а не мифическую роль в трагических событиях 1937 года.

Тухачевский, Якир, Уборевич и другие военачальники обладали огромным боевым опытом, обширными и глубокими познаниями в области военной науки. Они ни в чем не уступали генералам гитлеровского вермахта. Это не могло не беспокоить нацистское руководство, особенно после того, как в 1935 году Советский Союз заключил двусторонние договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Гитлер во что бы то ни стало стремился вбить клин между СССР и этими государствами, посеять недоверие последних как к истинным намерениям советского руководства, так и к боеспособности Красной Армии.

Герман Геринг, главнокомандующий ВВС Германии, один из нацистских вождей, еще в августе 1936 года в беседе с заместителем министра иностранных дел Польши упомянул, что Тухачевский, возвращаясь в феврале 1936 года из Лондона в Москву, сделал остановку в Берлине, где якобы пытался встретиться с Гитлером и представителями верховного командования вермахта. Рассказывая об этом, Геринг рассчитывал на то, что его информация рано или поздно попадет через Варшаву в

Париж и породит недоверие французского правительства к советским внешнеполитическим планам. Париж ознакомит с этой информацией Москву, Сталин будет поставлен перед необходимостью развеять подозрения своих союзников, то есть публично и сурово наказать, демонстративно покарать изменника.

Схожая акция была предпринята и в Чехословакии. В октябре 1936 года пражская полиция арестовала агентов гестапо, которые подготавливали ограбление советского военного атташе. На допросах они утверждали, что атташе находится в контакте с военной разведкой и контрразведкой Германии — с Абвером Ф.В.Канариса.

Однако заметных успехов вся эта закулисная активность не приносила. Тогда Гейдрих в середине декабря 1936 года предложил Гитлеру санкционировать разработку широкомаштабного плана компрометации Тухачевского. Получив согласие рейхсканцлера на проведение операции, Гейдрих в начале января 1937 года приказал бригаденфюреру СС В.Шелленбергу изучить все аспекты, связанные с отношениями между командованием Красной Армии и рейхсвера в годы Веймарской республики. Вскоре такой обзор был подготовлен, но поскольку никаких компрометирующих советских военачальников материалов обнаружить не удалось, то в СД было принято решение начать изготовление фальшивых документов, изобличающих Тухачевского в измене. Непосредственное руководство операцией по изготовлению "доказательств измены" Тухачевского Гейдрих возложил на штандартенфюрера СС Германа Беренса (впоследствии он возглавит войска СС в оккупированной Югославии и будет казнен в Белграде в 1946 году как военный преступник) и Альфреда Науюкса. Техническая подготовка убедительных "доказательств" была поистине художественной работой и потребовала больших усилий и времени. С этой сложной задачей к концу марта 1937 года успешно справился гравер Франц Путциг, давно работавший на германские секретные службы и изготовивший для них немало фальшивых паспортов и иных документов. "Досье", подготовленное Путцигом в соответствии с указаниями Беренса и Науюкса, состояло из 32 страниц, и к одной из них прилагалась даже фотография Льва Троцкого, снятого вместе с немецкими официальными лицами. В качестве главного документа в "досье" было включено письмо, в котором копировались не только почерк,

но и характерный стиль Тухачевского. На этом подложном письме были подлинные штампы Абвера — "совершенно секретно", "конфиденциально"; здесь же была и подлинная резолюция самого Гитлера — приказ установить слежку за теми немецкими генералами, которые якобы связаны с Тухачевским. Из текста письма следовало, что Тухачевский и его единомышленники будто бы договорились о том, чтобы избавиться от опеки гражданских лиц и захватить в свои руки государственную власть. Все "досье" включало в себя, кроме этого письма, еще 15 других документов на немецком языке, подписанных генералами вермахта (подписи были поддельные, скопированные с банковских чеков). Ознакомившись с содержанием "досье", которое вошло в историю под названием "Красной папки", Шелленберг заявил: "Если действовать правильно, можно нанести такой удар по командованию Красной Армии, от которого она не оправится в течение многих лет" (15). "Правильно" означало здесь не только искусное изготовление фальшивок, но и передачу их через лиц, которые не вызвали бы серьезных подозрений. Таким "лицом" был избран президент Чехословакии Эдуард Бенеш, антинацистские настроения которого были хорошо известны в Москве.

Уже в то время, когда шло изготовление "документов", подготавливалась почва для их безоговорочного восприятия в Праге. К "игре" был подключен граф Траутмансдорф, который в ноябре-декабре 1936 года по поручению германского правительства вел неофициальные переговоры с Э. Бенешем. 9 февраля 1937 года граф в беседе с чехословацким посланником в Берлине Мастны как бы мимоходом заметил, что его доверительные переговоры с Бенешем были прерваны по личному указанию Гитлера, который получил сообщение о готовящемся в СССР "заговоре" против Сталина в целях установления военной диктатуры, склонной к тесному сотрудничеству с Германией. Мастны незамедлительно покинул Берлин и через два дня сделал доклад Бенешу и министру иностранных дел Чехословакии Крофте. 13 февраля Мастны имел еще одну двухчасовую беседу с Бенешем. Однако вслед за этим никаких действий со стороны чехословацкого правительства не последовало. Крофта, несколько раз встречавшийся на протяжении следующих двух месяцев с советским полпредом в Праге С.С. Александровским, никаких конфиденциальных данных

ему не передавал. Когда в Берлине спустя почти два месяца совершенно определенно установили, что Бенеш не проинформировал Сталина о "военном заговоре", решено было действовать сразу по двум направлениям. С одной стороны, в Прагу с неофициальной миссией был направлен Беренс, который должен был передать изготовленные фальшивки — "Красную папку" — немецкому журналисту К. Виттигу, по заданию СД уже давно поддерживавшему контакты с разведкой МИДа Чехословакии. С другой стороны, в "игру" был введен Геринг, который имел беседу с посланником Мастны 7 апреля и заверил последнего в якобы существующих секретных связях между германским и советским военным командованием. Однако в отличие от февральской встречи с Траутмансдорфом реакция Мастны была не столь молниеносной. Только 12 апреля он запросил Прагу об аудиенции у президента Бенеша, который тоже не очень спешил — аудиенция была назначена на 17 апреля. Таким образом, промедление было проявлено с двух сторон, но по разным причинам. Мастны явно испытывал сомнения по отношению к новой информации, полученной от Геринга. Еще 20 марта в донесении министру иностранных дел К. Крофте он приходил к выводу, что имевшие место действия германских эмиссаров скорее всего преследуют одну цель: подрыв союзнических советско-чехословацких отношений. Промедление же Бенеша, по всей видимости, объяснялось необходимостью ознакомиться с "документами", оказавшимися в распоряжении разведки МИДа Чехословакии.

17 апреля Мастны ознакомил Бенеша с содержанием своей беседы с Герингом. Спустя пять дней — 22 апреля — президент Чехословакии пригласил к себе для беседы советского полпреда С.С. Александровского. Накануне этой встречи — 21 апреля — в Берлин выехал глава политической полиции Чехословакии К. Новал, который встретился там с шефом гестапо Г. Мюллером. Сразу же после возвращения Новала из Берлина и его доклада президенту страны Бенеш и Крофта еще трижды встречались с Александровским — 24 и 26 апреля, 7 мая. И, наконец, 8 мая Бенеш направил личное послание Сталину, к которому приложил "документы", компрометирующие руководство Красной Армии. Бенеш, видимо, поверил в подлинность полученных им "документов" и дал о них знать Сталину, искренне думая, что открывает тому глаза. Именно в этом духе

Бенеш и писал своему другу лидеру Французской социалистической партии Леону Блюму конфиденциальное письмо, в котором утверждал, что существует тайная связь между высшими командирами Красной Армии и гитлеровскими генералами. "Документы", посланные Бенешем, были получены в Москве не ранее 11-ого, а скорее всего 12-ого мая. Эти "документы" якобы и предопределили судьбу не только восьми расстрелянных 11-ого июня 1937 года военачальников, но и значительной части командиров Красной Армии вообще.

Зная все эти факты, можно склониться к мысли, что в отношении Тухачевского Сталин на самом деле был жестоко обманут, что он попался в ловушку, ловко подстроенную фашистской разведкой. Но это не так, это миф. Действительная история гибели Тухачевского и его товарищей гораздо сложнее.

Во-первых, идея о "заговоре" видных советских военных во главе с Тухачевским родилась отнюдь не в голове шефа СД Гейдриха. Она была подсказана ему белоэмигрантским генералом Н.В.Скоблиным, бывшим командиром прославленного Корниловского ударного полка*. В недрах крупнейшей и наиболее активной контрреволюционной организации — Российского общевойскового союза (РОВСа) — Скоблин возглавлял так называемую "внутреннюю линию" — тайный орган, на который возлагалась задача наблюдать "изнутри" за всеми членами Союза, бороться с проникновением в него враждебной агентуры и внедряться в другие эмигрантские объединения (16). Как выяснилось позже, Скоблин и его жена, известная исполнительница русских народных песен Надежда Васильевна Плевацкая являлись не только заметными фигурами белой эмиграции,

* Скоблин Николай Владимирович родился 9 июня 1893 года в г. Нежине в семье отставного полковника. В 1914 году окончил Чугуевское военное училище. Во время первой мировой войны за храбрость и боевые заслуги был награжден орденом св. Георгия и золотым Георгиевским оружием. После захвата власти в стране большевиками Скоблин без колебаний включился в белогвардейское движение. В ноябре 1918 года он был назначен командиром 1-ой (корниловской) пехотной дивизии Добровольческой Армии. В 1919 году Скоблину было присвоено звание генерал-майора. После разгрома врангелевской армии в ноябре 1920 года он вместе с ее остатками покинул Россию, однако борьбы с большевиками не прекратил. Сотрудничать с органами ОГПУ-НКВД Скоблин согласился, рассчитывая использовать их силу в интересах "белого дела" и для удовлетворения своих честолюбивых замыслов.

но и агентами ОГПУ-НКВД. Именно при активной помощи Скоблина была организована такая поразившая всю эмиграцию акция, как похищение в январе 1930 года генерала А.П. Кутепова, который после смерти генерала Врангеля возглавлял РОВС. 23 сентября 1937 года сотрудники НКВД осуществили еще одну специальную операцию — похищение следующего председателя РОВСа генерала Е.К. Миллера. В тот день Миллер бесследно исчез, оставив записку, что он куда-то ушел вместе со Скоблиным. Когда Скоблина спросили, виделся ли он в тот день с генералом Миллером, тот ответил категорическим отказом. В следующую ночь Скоблин тоже исчез, больше его никто никогда не видел (17). Похищение генерала Миллера было попыткой поставить во главе РОВСа его заместителя Скоблина. Но эти далеко идущие замыслы НКВД сорвались: операция была проведена не вполне чисто, на Скоблина пало подозрение в причастности к похищению, и ему пришлось скрыться. Однако была арестована жена Скоблина Надежда Плевицкая, которая впоследствии в 1941 году в возрасте 57 лет умерла во французской тюрьме (18). Хотя похищение Миллера и исчезновение Скоблина и вызвали настоящий переполох в белогвардейском стане, но с высот нынешних знаний о заграничной деятельности ОГПУ-НКВД события 1937 года не кажутся уж столь неожиданными. Дело в том, что среди российских эмигрантских организаций, в чьи ряды стремились проникнуть агенты ОГПУ-НКВД (как, впрочем, и агенты германской разведки), РОВС занимал особое место. В результате целого ряда успешно проведенных специальных операций, в первую очередь, в ходе знаменитой операции "Трест", агенты "органов" буквально проникли в РОВС. В таких условиях Скоблин стал работать как на ОГПУ-НКВД, так и на германские секретные службы, и едва ли можно сомневаться, что он был одним из тех связующих звеньев, через которые время от времени происходил обмен информацией между разведками двух держав. Во всяком случае, именно через Скоблина агенты Ежова, возглавлявшего тогда НКВД, послали в Берлин лживую версию о том, что Тухачевский находится в тайных связях с германскими генералами и готовится к государственному перевороту (19). Хотя в кругах гитлеровской "Службы безопасности" эту версию прямо рассматривали как подброшенную НКВД, Гейдрих решил ее использовать. Аргументация его, по-видимому, была следующей:

если Сталин серьезно подозревает своих высших военачальников в заговоре, более того, если он жаждет получить доказательства их измены, то было бы в высшей степени неразумно упустить такую уникальную возможность обезглавить Красную Армию, выбить из строя наиболее даровитых командиров противника накануне большой войны.

Во-вторых, 1—4 июня 1937 года, когда Тухачевский и его товарищи уже находились под арестом и по их "делу" полным ходом шло следствие, в Москве совместно с Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР заседал Военный Совет. В опубликованном в "Правде" 13 июня 1937 года Приказе Наркома обороны Маршала Советского Союза К.Е.Ворошилова № 96 говорилось: "С 1 по 4 июня с.г. в присутствии членов Правительства состоялся Военный Совет при Народном комиссаре Обороны СССР. На заседании Военного Совета был заслушан и подвергнут обсуждению мой доклад о раскрытии Народным Комиссариатом Внутренних Дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации, которая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую, подрывную вредительскую и шпионскую работу в Красной Армии". Удивительно и весьма показательно то, что теперь, после всех трудов и всей изобретательности, вложенных в получение от немецкой разведки "досье", компрометирующего обвиняемых, оно не было представлено Военному Совету. Членам Военного Совета были розданы фальсифицированные показания ранее арестованных военачальников, которые в течение многих месяцев фабриковались в ведомстве Ежова. В этих "показаниях" Тухачевский, Якир, Уборевич и другие голословно и противоречиво обвинялись в "измене Родине и в подготовке государственного переворота". На Военном Совете выступил и сам Сталин. В своей большой речи он даже не упомянул о "досье", полученном от Бенеша. Вместо этого, в своем выступлении, а затем и в многочисленных репликах, ссылаясь на "показания" ранее репрессированных военачальников, Сталин потребовал до конца выкорчевать "заговор" в вооруженных силах страны и, по сути дела, призвал к избиению командных кадров. По воспоминаниям одного из присутствовавших на этом заседании Военного Совета, Сталин, в частности, заявил: "Товарищи, я вижу на ваших лицах мрачность и какую-то растерянность. Понимаю, вам очень тяжело слушать о преступной

деятельности тех, с кем мы десятки лет работали и которые теперь оказались изменниками Родины. Но омрачаться не надо. Это явление вполне закономерное. Почему иностранная разведка должна интересоваться сельским хозяйством, транспортом, промышленностью и оставить в стороне Красную Армию? Надо думать, наоборот, иностранная разведка всегда интересовалась прежде всего вооруженными силами нашей страны, засылала шпионов, расставляла резидентов, чтобы узнать там наши уязвимые места" (20). Кроме того, Сталин в своем выступлении выдвинул тяжкие обвинения против целого ряда командиров, включая начальника Главного управления противовоздушной обороны РККА командарма 2-ого ранга А.И.Седякина, начальника академии Генерального штаба комдива Д.А.Кучинского и начальника Политуправления Ленинградского военного округа армейского комиссара 2-ого ранга И.Е.Славина (21).

В-третьих, никакого "досье", никакой "Красной папки" или иных обличающих заграничных документов Тухачевскому и другим обвиняемым не предъявлялось и на суде 11 июня 1937 года (22). Сей скоропалительный суд признал их виновными на основании устных заявлений Сталина и Ворошилова на Военном Совете, а также "показаний" ранее арестованных военачальников и личных "признаний" (23).

В-четвертых, когда в 1956-57 годах военной прокуратурой проводилась дополнительная проверка "дела о военно-фашистском заговоре в Красной Армии", в архивно-следственном деле № 967581 по обвинению Тухачевского, Якира, Уборевича и других в "измене Родине" никаких материалов, подтверждающих предъявленные им обвинения, кроме их личных "признаний", обнаружено не было (24).

Что касается немецкого "досье", то оно, по-видимому, имело хождение лишь в очень узком сталинско-ежовском кругу, служа там созданию заданного ощущения грозной опасности, нависшей над страной. Возможно, что Сталин использовал его, чтобы убедить в целесообразности решительных действий НКВД тех из высших военных деятелей, кто сомневался в реальности "заговора". Возможно, что он использовал его, чтобы приказать судьям вынести смертный приговор Тухачевскому и другим обвиняемым (25). Весьма вероятно, что судьи или кто-то из них действительно видели "Красную папку" или хотя бы слышали о ее существовании. Правда, никакого документаль-

ного отражения это обстоятельство не нашло. Во всяком случае ясно, что Сталин решил обойтись без сомнительного "досье" и добыть нужные "доказательства" хорошо испытанным путем — получить их от самих обвиняемых. Ведь было бы неловко, если бы даже и на закрытом суде кто-либо из группы Тухачевского смог разоблачить по какому-нибудь пункту, не замеченному специалистами из НКВД, немецкую фальшивку. Хотя "документы" и были умелыми подделками, они все-таки не полностью соответствовали тонкому чувству нюансов, характерному для Сталина. Одна из неудовлетворительных подробностей заключалась, например, в том, что из всех военачальников "досье" уличало одного Тухачевского. Другая любопытная деталь: в "досье" упоминался в качестве участника тайной переписки бывший посол СССР в Берлине, а затем в Париже — Я.З.Суриц; по иронии судьбы Суриц оказался одним из очень немногих советских послов, переживших сталинский террор невредимыми (26).

При изучении ныне известных фактов "по делу Тухачевского" становится очевидным то, что фальшивые документы, изготовленные гитлеровской разведкой, не сыграли никакой роковой роли в судьбе видных военачальников Красной Армии. "Доказательства измены" Тухачевского, Якира, Уборевича и других конструировались в НКВД еще задолго до того, как "Красная папка" попала к Сталину в мае 1937 года. Дополнительной прокурорской проверкой было строго документально установлено, что фабрикация клеветнических материалов по данному "делу" шла в 5-ом (Особом) отделе ГУГБ НКВД СССР под руководством Наркома внутренних дел Генерального комиссара государственной безопасности Н.И.Ежова, заместителя Наркома внутренних дел комкора госбезопасности М.П.Фриновского, комиссара госбезопасности 2-ого ранга И.М.Леплевского и начальника Особого отдела комиссара госбезопасности 2-ого ранга М.И.Гая (27).

Почти одиннадцать месяцев прошло с того момента, когда были предприняты первые меры против высшего военного командования — меры, принесшие столь фантастические плоды в июне 1937 года. 5 июля 1936 года сотрудниками НКВД был арестован член партии с 1915 года, кавалер двух орденов Красного Знамени, командир 8-ой отдельной танковой бригады Киевского военного округа комдив Д.А.Шмидт (28). Еще в

годы Первой мировой войны он заслужил все четыре Георгиевских креста. В 1918 году Шмидт создал знаменитый 7-й Суджанский полк, во главе которого участвовал в освобождении Полтавы, Кременчуга, Бердичева, Шепетовки, Рыльска. Его первый орден Красного Знамени был за номером 35. Сам Сталин видел его осенью 1919 года в бою под Царицыном. Раненого Шмидта два бойца держали тогда под руки. До конца боя он не желал уходить (29). Комдив был арестован без ведома и согласия своего прямого начальника — Якира. Последний сразу же бросился в Москву, где Ежов показал ему "материал", компрометирующий Шмидта, и убедил командарма в правомерности ареста комдива (30). "Материал", по-видимому, состоял из "показаний" С.В.Мрачковского, Е.А.Дрейцера и И.И.Рейнгольда, троцкистов, которых готовили к первому публичному московскому процессу — суду над Л.Б.Каменевым и Г.Е.Зиновьевым. Из этих "показаний" вытекало, что Шмидт и его соучастник Б.И.Кузьмичев (майор, начальник штаба авиационной бригады) по приказу Мрачковского, переданному через Дрейцера, готовили убийство Ворошилова в интересах "троцкистско-зиновьевского террористического контрреволюционного центра". Но одну чрезвычайно важную деталь этих "показаний" Ежов от Якира скрыл — а именно то, что убийство Ворошилова должно было якобы произойти в служебном кабинете Якира (31).

Расправа над Шмидтом была вполне в стиле Сталина: "вождь народов" таил против комдива старую обиду. В 1925-27 годах Шмидт был связан с троцкистской оппозицией, хотя и не играл в ней сколько-нибудь важной роли (32). Известно, что, прибыв в Москву во время работы XV съезда партии, на котором из ее рядов были исключены наиболее активные последователи Троцкого и Зиновьева, он встретил Сталина, выходящего из Кремля. Шмидт, в своей черной черкеске с наборным серебряным поясом и в папахе набекрень, подошел к Сталину и полушутя-полусерьезно стал осыпать его ругательствами солдатского образца. Закончил он жестом, имитирующим выхватывание сабли, и пригрозил Сталину, что в один прекрасный день отрубит ему уши. Сталин ничего не ответил, только побледнел и сжал губы (33). Инцидент истолковали как скверную шутку, в крайнем случае, как оскорбление, не носящее политического характера, следовательно, не достойное серьезного внимания. В конце концов, Шмидт ведь подчинился реше-

ниям XV партийного съезда и продолжал верой и правдой служить советской власти еще около десяти лет. На процессе Каменева-Зиновьева в августе 1936 года даже говорилось, что троцкисты, дескать, видели в нем подходящего заговорщика именно потому, что он был "вне подозрений в партии" (34). Что же касается грубости Шмидта, то ведь сам Сталин поощрял грубые шутки среди своих товарищей. И вообще такого рода поведение со стороны старого вояки не рассматривалось бы как чрезвычайное событие никаким вождем — кроме, однако, Сталина.

Вскоре стало ясно, что арест Шмидта не был изолированным актом. "Дела" Шмидта и Кузьмичева были упомянуты среди других в обвинительном заключении на процессе Каменева-Зиновьева как "вынесенные в особое разбирательство в связи с тем, что следствие по ним не закончено". На суде Мрачковский говорил о "террористической группе, включавшей Шмидта, Кузьмичева и некоторых других, которых я не помню", что уже тогда было намеком на более широкую "подпольную военную организацию". Рейнгольд тоже упоминал их как якобы часть "троцкистской группы военных", имевшей много участников, чьих имен он не знал (35).

Кузьмичев, так же как и Шмидт, был другом Якира еще с гражданской войны. В начале августа 1936 года был арестован еще один из боевых друзей Якира, председатель Днепропетровского облисполкома Н.В. Голубенко (36). В 1919 году он был комиссаром 45-ой стрелковой дивизии, которой командовал Якир (37). На процессе Каменева-Зиновьева Голубенко был представлен как член "контрреволюционного троцкистско-зиновьевского националистического блока" (38), однако на следующем публичном московском процессе в январе 1937 года его упоминали как участника "террористической группы, сформированной для убийства тов. Сталина" (39) и намеревавшейся "действовать против руководителей Коммунистической партии и Советского правительства Украины" (40). Из воспоминаний старых большевиков теперь известно, что Н.В. Голубенко при поддержке Серго Орджоникидзе делал попытки приостановить сталинский террор.

Эти аресты вызвали немалое беспокойство в военных кругах на Украине. Мало кто верил в виновность арестованных; в виновность Шмидта не верил никто (41). Между тем,

аресты продолжались. В августе 1936 года был схвачен комендант Киевского укрепрайона комдив Ю.В.Саблин (42). Сын известного московского прогрессивного книгоиздателя В.М.Саблина, он 18-летним в 1915 году вступил в партию социалистов-революционеров, после раскола которой стал левым эсером. В Октябрьские дни 1917 года Юрий Саблин был деятельным членом штаба Московского ВРК, затем членом Президиума Моссовета. В июле 1918 года участвовал в мятеже левых эсеров, будучи вместе с Поповым военным руководителем мятежников. Революционным трибуналом он был приговорен за это к году тюрьмы, однако уже 29 ноября 1918 года был амнистирован ВЦИК. После своего освобождения Саблин порвал с левыми эсерами, вступил в Коммунистическую партию и отправился на Украину, где командовал повстанческими отрядами против Петлюры, а затем дивизией Красной Армии в боях против Деникина и Врангеля. Отметим, что в 1919 году его непосредственным начальником был Уборевич, а в октябре-ноябре 1920 года — А.И.Корк. В марте 1921 года Саблин отличился при подавлении Кронштадтского восстания. За боевые заслуги он был награжден двумя орденами Красного Знамени (43). Сотрудница НКВД Анастасия Рубан, знавшая Якира, тайно встретилась с ним и сообщила, что видела материалы против Саблина (комдив обвинялся в шпионаже в пользу фашистской Германии) и убедилась в полной его невинности (44). Три дня спустя было объявлено о смерти Рубан от сердечного приступа. Вскоре, однако, стало известно, что в действительности она покончила жизнь самоубийством (45).

А тем временем в Москве во Внутренней тюрьме НКВД Шмидта вели по всем степеням допроса с пристрастием высокопоставленные следователи, включая начальника Особого отдела ГУГБ НКВД М.И.Гая и печально известного своей жестокостью его помощника З.М.Ушакова. Они настойчиво убеждали бывшего комдива в том, что он во время больших киевских маневров 1936 года должен был убить Наркома обороны Ворошилова, чтобы расчистить место для Якира. Шмидт все это отрицал. Как основную вещественную улику заключенному предъявили документ, найденный у него при аресте, — график передвижения Ворошилова на всех этапах маневров. Но этот график имели при себе на учении все командиры крупных воинских частей. Тогда появилась новая версия: будто бы

Якир, уезжая в 1934 году на лечение в Вену, вызвал к себе в штаб округа Шмидта и дал ему директиву усиленно готовить к антисоветскому восстанию 8-ую танковую бригаду (46). Некоторое время Шмидт продолжал все эти вымыслы отрицать, но силы его подходили к концу.

Обвинение против Шмидта и Кузьмичева, как уже отмечалось, было внесено в показания участников процесса над Камневым и Зиновьевым. Но в ходе самого суда, 21 августа 1936 года, неожиданно прозвучало имя более известного командира Красной Армии, одного из членов группы Тухачевского. В тот день был вторично допрошен Дрейцер. Во время этого допроса, завершившего собой весь процесс, Дрейцер выдвинул обвинения против В.К.Путны, который якобы находился в прямой связи с Троцким и И.Н.Смирновым (последний был одним из главных обвиняемых на этом судебном процессе). Хотя сам Смирнов отверг причастность Путны к их "подпольной организации", другие обвиняемые — Р.В.Пикель, Рейнгольд и И.П.Бакаев — подтвердили "показания" Дрейцера (47). Путна в 1923 году примыкал к троцкистской оппозиции, но затем отошел от нее (48). Тем не менее это делало его уязвимым для обвинения в "троцкизме" и вообще в чем угодно. Кроме того, Путна был другом Тухачевского еще с дореволюционных лет — они служили вместе в лейб-гвардии Семеновском полку; и поэтому он был привлекательной фигурой для провокаторов из НКВД — ведь через него они могли выйти и на самого Тухачевского. Путна, ранее вызванный из Лондона в Москву якобы для получения нового назначения, был арестован накануне этих событий — 20 августа 1936 года (49).

Еще один командир, которому предстояло сесть на скамью подсудимых в июне 1937 года, комкор Примаков, был арестован даже раньше, чем Путна, — 14 августа 1936 года (50). Примаков и Шмидт были близкими друзьями, и поэтому неудивительно, что комкор стал добычей НКВД. Однако был в биографии Примакова еще один эпизод, который основательно подрывал его положение. В 1920 году он конфликтовал с Ворошиловым и Буденным (51). И не случайно, когда в 1925 году Наркомом по военным и морским делам и Председателем Реввоенсовета Республики был назначен Ворошилов, военная карьера Примакова вступила в полосу трудных испытаний (52).

Тогда же был арестован заместитель командующего вой-

сками Харьковского военного округа комкор С.А. Туровский. Он был старым большевиком (членом партии с 1911 года), политкаторжанином, в гражданскую войну — бессленным начальником штаба соединений Червоного казачества и в качестве такового ближайшим помощником В.М.Примакова (53). К тому же вряд ли следователи НКВД могли оставить без внимания и то, что Туровский и Шмидт были женаты на родных сестрах.

Для поверхностного наблюдателя не было ничего невозможного или подозрительного в том, что "троцкистские заговорщики" вовлекали в свою орбиту командиров Красной Армии, так же как и гражданских лиц различных профессий. В такой обстановке трудно было жаловаться, что аресты военных представляют собой злонамеренный удар по армии как таковой. С другой стороны, согласно "показаниям" Дрейцера, инструкции Троцкого включали в себя особый пункт о "развертывании работы по организации ячеек в армии" (54), и это звучало уже прямой угрозой. Осенью 1936 года ходили слухи о том, что готовится показательный процесс "командиров-троцкистов" с комкором Путной в качестве главного обвиняемого. Тучи сгущались и над головой самого Тухачевского, если судить по тому, как мало о нем писали в связи с последними большими маневрами. А Ворошилов, делясь в Киеве впечатлениями о белорусских маневрах, напомнил о "кознях врагов", о том, что первый арест произошел в Киевском военном округе, и призывал к "неусыпной бдительности" (55).

Очередным этапом в нарастающем давлении на армию стал второй московский процесс — суд над Пятаковым-Радеком в январе 1937 года. В показания подсудимых были вложены обвинения против Путны, что, конечно, уже не было новостью. Однако 24 января 1937 года Радек на судебном заседании заметил, как бы попутно, что Путна приходил к нему "передать одну просьбу Тухачевского" (56). На следующий день состоялся удивительный диалог между государственным обвинителем на этом процессе Генеральным прокурором СССР А.Я. Вышинским и Радеком:

"Вышинский: Обвиняемый Радек, в ваших показаниях сказано: "В 1935 году... мы решили созвать конференцию, но перед этим, в январе, когда я приехал, ко мне пришел Витовт Путна с просьбой от Тухачевского...". Я хочу знать, в какой связи вы упомянули имя Тухачевского?"

Радек: Тухачевский имел правительственное задание, для которого не мог найти необходимого материала. Таким материалом располагал только я. Он позвонил мне и спросил, имеется ли у меня этот материал. Я его имел, и Тухачевский послал Путну, с которым вместе работал над заданием, чтобы получить этот материал от меня. Конечно, Тухачевский понятия не имел ни о роли Путны, ни о моей преступной роли...

Вышинский: А Путна?

Радек: Он был членом организации; он пришел не по делам организации, но я воспользовался его визитом для нужного разговора.

Вышинский: Итак, Тухачевский послал к вам Путну по официальному делу, не имевшему никакого отношения к вашим делам, поскольку он, Тухачевский, никак не был связан с вашими делами?

Радек: Тухачевский никогда не имел никакого отношения к нашим делам.

Вышинский: Он послал Путну по официальному делу?

Радек: Да.

Вышинский: И вы воспользовались этим в ваших собственных интересах?

Радек: Да.

Вышинский: Правильно ли я вас понял, что Путна был связан с членами вашей троцкистской подпольной организации и что вы упомянули Тухачевского только потому, что Путна приходил к вам по официальному делу на основании приказа Тухачевского?

Радек: Я это подтверждаю, и я заявляю, что я никогда не имел и не мог иметь никаких связей с Тухачевским по линии контрреволюционной деятельности, потому что я знал, что Тухачевский — человек, абсолютно преданный партии и правительству” (57).

Прочитав все это, один опытный работник НКВД сразу же сказал, что Тухачевский пропал. ”Почему, — спросила его жена, — ведь показания Радека так категорически исключают его вину?” ”А с каких это пор, — был ответ, — Тухачевскому понадобилась характеристика Радека?” (58)

Неуклюжий диалог между Вышинским и Радеком был успокоительным ходом, без сомнения, продиктованным лично Сталиным, возможно, по настоянию Тухачевского, после того,

как его имя было накануне произнесено. Весьма типично, что Маршал получил удовлетворение столь поверхностным путем. Он вряд ли мог теперь требовать более ясного подтверждения своей лояльности и невиновности. И в то же время сама мысль о возможной его виновности была пущена в ход. И когда Вышинский в своей обвинительной речи говорил о том, что подсудимые признались во многом, но не во всем, что касалось их преступных связей, то это была укладка фундамента для возведения дальнейших обвинений и на Тухачевского, и на кого угодно.

Среди обвиняемых на судебном процессе по "делу Пятакова— Радека" был давний товарищ Якира Я.А.Лившиц. В прошлом он был рабочим; в партию вступил еще до революции, после победы которой занимал ответственные посты в органах ВЧК-ГПУ-ОГПУ; в последние годы своей жизни работал заместителем Наркома путей сообщения СССР. На судебном процессе Лившиц "признался" в том, что организовывал по всей стране крушения поездов и шпионил в пользу Японии, и был за "это" приговорен к расстрелу. Позже стало известно, что перед казнью он крикнул: "За что?". И вновь Якир не мог свести концы с концами: где же правда, а где клевета и провокация? Сын Якира Петр вспоминал, что отец говорил: "Ведь заика (Лившиц очень заикался) крикнул: "За что?". Значит, он не чувствовал за собой вины. Здесь что-то не так. Ничего не могу понять" (59).

Когда Шмидта в конце концов сломали суровыми допросами, его "показания", по-видимому, стали циркулировать в высших кругах партии. Якир решил еще раз проверить обвинения. Он настоял на том, чтобы ему дали свидание со Шмидтом в тюрьме. Шмидт сильно исхудал, поседел, выглядел апатично и говорил обо всем с безразличием. По словам Якира, у него "был взгляд марсианина". Но когда Якир спросил его, соответствуют ли действительности данные им показания, Шмидт ответил, что не соответствуют. Командарму не позволили расспрашивать несчастного о деталях, но он получил от Шмидта записку к Ворошилову с отрицанием всех возведенных на него обвинений. В записке, в частности, говорилось: "...помогите мне, ведь Вы, Климент Ефремович, меня знаете лучше всех, я не совершил никаких преступлений". Якир передал эту записку Наркому обороны и заверил его лично от себя, что обвине-

ния — явно ложные. Очень довольный этими результатами Якир вернулся в Киев. Но радовался он недолго. Ворошилов позвонил ему по телефону и сказал, что на следующий день после свидания в тюрьме с Якиром Шмидт признался в попытке обмануть следствие и подтвердил свои прежние показания. Теперь известно, что в результате многомесячных допросов с применением мер физического воздействия (т.е. пыток) Шмидт либо к тому времени, либо вскоре после того дал "показания", о которых не сообщил Якиру и другим высшим командирам, — "показания" против самого Якира. Шмидт "признался", что по приказу Якира готовил свое танковое соединение к мятежу во время ноябрьского парада (60).

Более чем вероятно, что Якир, как, по-видимому, и некоторые другие военные, сопротивлялся сталинскому террору на февральско-мартовском (1937 года) Пленуме ЦК ВКП(б). Во всяком случае, его решительное настояние на встрече с арестованным Шмидтом показывает, что Якиру было не занимать храбрости.

3 марта 1937 года с трибуны Пленума, уже после ареста на одном из его заседаний Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова, Сталин намекнул на то, какой большой вред могут нанести "несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии" (61), а глава правительства В.М.Молотов прямо призывал к чистке командных кадров Красной Армии, обвиняя участников Пленума в нежелании развернуть непримиримую борьбу против "врагов народа". Более того, Молотов даже уточнил, в ком именно можно скорее всего обнаружить "врагов народа": "Особая опасность теперешних диверсионно-вредительских организаций заключается в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы прикидываются коммунистами, горячими сторонниками Советской власти" (62). На этом судьбоносном Пленуме Сталин и его приверженцы добились принятия резолюций, которые послужили в их руках теоретическим обоснованием репрессий, для широкого распространения которых уже давно готовилась солидная организационная база. К апрелю 1937 года аппарат НКВД был тщательно "очищен" Ежовым и был готов к новым, широкомасштабным операциям (63). К тому же времени был радикально обновлен и аппарат Генерального прокурора СССР Вышинского — еще один важный элемент сталинского механизма массовых репрессий (64).

5 апреля 1937 года на освободившийся после ареста Г.Г. Ягоды пост Наркома связи СССР был назначен командарм 2-ого ранга И.А.Халепский (65), крупнейший в Красной Армии специалист по бронетанковым войскам, видный теоретик, совместно с Тухачевским и его единомышленниками оказавший заметное влияние на развитие военной мысли. Это назначение было столь же абсурдным, сколь и зловещим.

Вскоре был арестован комкор А.И.Геккер. Он был представителем той части офицеров царской армии, которая перешла на сторону большевиков еще до прихода их к власти. В сентябре 1920 — мае 1921 года Геккер командовал 11-ой армией, которая установила Советскую власть в Азербайджане, Грузии и Армении. За свои боевые заслуги он был награжден орденом Красного Знамени, а также орденами Красного Знамени Азербайджанской и Армянской ССР (66). К моменту ареста Анатолий Ильич возглавлял отдел международных связей Генерального штаба Красной Армии, а потому, видимо, особенно подходил для обвинений в шпионаже. В том же месяце — в начале апреля — был арестован командующий войсками Уральского военного округа комкор И.И.Гарькавый. Он был одним из ближайших друзей Якира; они даже были женаты на родных сестрах. Когда Ворошилов сообщил по телефону об аресте Гарькавого, ошеломленный Якир опустился в кресло и схватился руками за голову. В тот же день вечером он выехал в Москву, встретился с Ворошиловым, добился свидания со Сталиным. Тот его успокоил, сказав, что серьезные обвинения против Гарькавого были выдвинуты теми, кто уже находился под арестом, но что, если он окажется невиновным, его, конечно, выпустят (67).

28 апреля 1937 года "Правда" опубликовала многозначительный призыв к Красной Армии овладеть политикой и бороться как с внешним, так и с внутренним врагом. Это было правильно понято высшим военным командованием, уже испытывавшим несколько потрясений, как сильный, хотя и не прямой удар.

На первомайском параде 1937 года Тухачевский первым появился на трибуне, предназначенной для руководителей вооруженных сил страны. Он шел в одиночестве, заложив большие пальцы рук за пояс. Вторым вышел Маршал Советского Союза А.И.Егоров, но он не взглянул на своего коллегу и не

отсалютовал ему. К ним в молчании присоединился Гамарник. Военных окружала мрачная, леденящая атмосфера. По окончании парада Тухачевский не стал дожидаться демонстрации и ушел с Красной площади (68).

В апреле Тухачевского назначили присутствовать при коронации короля Георга VI в Лондоне. 3 мая документы его были посланы в Британское посольство, но на следующий день посольству внезапно сообщили, что по состоянию здоровья Тухачевский не сможет приехать. Отмену поездки в Лондон самому Маршалу неофициально объяснили тем, будто бы в Варшаве на него готовится покушение. Этот повод, естественно, вызывал сомнения. Тухачевский ведь мог добраться до Англии и минуя Варшаву. Вместо него в Лондон на коронационные торжества выехал командующий военно-морскими силами СССР В.М. Орлов (69).

Командир, несколько раз встречавшийся с Тухачевским в мае 1937 года, вспоминает, что Маршал выглядел необыкновенно мрачно после того, как имел разговор с Ворошиловым. Через несколько дней у Тухачевского с Наркомом обороны была еще одна беседа. Ворошилов был холоден и формален. Он коротко объявил Маршалу, что его снимают с поста заместителя Наркома обороны и переводят в Приволжский военный округ — в один из самых незначительных, располагавший тогда тремя пехотными дивизиями и несколькими отдельными соединениями. Тухачевский в то время сказал одному из своих друзей: "Дело не столько в Ворошилове, сколько в Сталине" (70).

Это назначение Тухачевского вызвало всякие слухи и подозрения. Близкие его были очень встревожены. Даже шофер Тухачевского И.Ф. Кудрявцев, работавший с Маршалом с 1918 года, на правах близкого человека спросил его, почему он так грустен в последние дни. Тухачевский ответил, что про него выдумывают всякие небывлицы. И тогда Кудрявцев решил посоветовать: "Напишите Сталину". В ответ он услышал, что такое письмо уже находится у Сталина (71). По-видимому, Тухачевский просил в нем разъяснить перемену, происшедшую по отношению к себе. Возможно, Маршал уже подозревал, что стоит среди тех, у кого, как много лет спустя напишет Евгений Евтушенко, "внутри светился смертный приговор, как белые кресты на дверях гугенотов".

Новое назначение Тухачевского вместе с несколькими другими стало известно 10-11 мая, когда официально была объявлена целая серия перемещений высших военачальников. Гамарник, подобно Тухачевскому, был снят с поста заместителя Наркома обороны. Более хитрым ходом Сталина был перевод Якира из Киева в Ленинград; в отличие от назначения Тухачевского, это не было очевидным понижением по службе. Кроме того, ни Тухачевский, ни Якир не были посланы на свои новые места службы с унижительной поспешностью — они оставались соответственно в Москве и Киеве примерно до конца мая.

Тем временем постановлением ЦИК и СНК СССР от 10 мая 1937 года в армии была неожиданно восстановлена прежняя система двойного подчинения, при которой власть комиссаров практически приравнивалась к власти командиров (хотя приказы по-прежнему издавались от имени командира, подписываться они должны были теперь командиром и комиссаром (72)). В свое время, когда такая мера была осуществлена впервые, причиной было то, что так называемые "военспецы" были в основном бывшими царскими офицерами и им нельзя было полностью доверять. Восстановление этой системы уже при новом, вполне советском командном составе было яркой демонстрацией недоверия к командирам Красной Армии (и не случайно институт военных комиссаров будет вновь упразднен только после того, как в армии окончательно стихнет массовый террор — 12 августа 1940 года (73)).

В начале мая 1937 года был нанесен первый удар по Особой Краснознаменной Дальневосточной армии — был арестован командующий военно-воздушными силами ОКДВА комкор А.Я.Лапин, человек, обладавший незаурядными военными способностями и огромными боевыми заслугами, за которые был награжден орденом Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени. В 1919 году Альберт Янович Лапин служил комиссаром полевого управления и штаба 5-ой армии Восточного фронта, командующим которой был М.Н.Тухачевский. Однако Лапину не сиделось в штабе, по его настоянию он был назначен командиром 232-ого стрелкового полка 26-ой стрелковой дивизии. Он участвовал во многих боях Бугульминской и Челябинской операции 5-ой армии. 23 июня 1919 года под Челябинском Лапин был тяжело ранен в позвоночник и несколько ме-

сяцев пролежал в госпитале. Врачебная комиссия признала его к военной службе негодным. Но по просьбе Лапина М.Н. Тухачевский принял его в свой штаб начальником оперативного отдела. И в последующем боевая судьба Лапина была тесно связана с именем Тухачевского. Наконец, в 1920 году он командовал бригадой, входившей в состав 27-ой стрелковой дивизии, начальником которой был В.К. Путна. Дивизия, в свою очередь, входила в состав Западного фронта (командующий — М.Н. Тухачевский), наступающего на Варшаву. 11 мая А.Я. Лапин покончил жизнь самоубийством после жестоких пыток в Хабаровской тюрьме (74).

Между тем именно в эти дни — в начале и середине мая — подготовка сокрушительного удара по высшему командованию Красной Армии вступила в основную и завершающую многомесячную "работу" стадию. 8 и 10 мая дал развернутые показания о якобы существующем в армии "военно-фашистском заговоре" бывший начальник противовоздушной обороны РККА М.Е. Медведев, арестованный задолго до описываемых событий. Как было установлено дополнительной проверкой, проведенной военной прокуратурой в 1956-57 годах, "показания" эти Медведев дал только после применения к нему мер физического воздействия. Вел его "дело" заместитель начальника Управления НКВД по Московской области старший майор государственной безопасности А.П. Радзиловский; он и продиктовал Медведеву его "собственное признание", из которого следовало, что руководителями "заговора" были Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Фельдман, Путна, Примаков, а также заместитель командующего войсками Уральского военного округа комкор М.И. Василенко, заместитель командующего войсками Харьковского военного округа комкор С.А. Туровский, начальник Военно-инженерной академии комкор И.И. Смолин, начальник Главного артиллерийского управления Красной Армии комдив Н.М. Роговский, комкор Н.А. Ефимов (75). Примерно тогда же первые "признания" Примакова и Путны были добыты начальником 2-ого отделения Особого отдела ГУГБ НКВД А.А. Авсеевичем (76). Наконец, как раз тогда же, как пишет в своих мемуарах бывший гитлеровский разведчик Вальтер Шелленберг, "документы", свидетельствующие об "измене" Тухачевского, были переданы в Москву (77). Наличие развернутых и уже достаточно согласованных

"показаний" Шмидта, Медведева, Примакова и Путны, а также страховочного материала в виде "Красной папки" и определило решительную линию поведения НКВД в мае 1937 года.

12 мая был арестован командарм 2-ого ранга Август Иванович Корк (78), а 15 мая — комкор Борис Миронович Фельдман (79). По воспоминаниям генерал-лейтенанта Я.П. Дзенита о своей последней встрече с М.Н. Тухачевским, Маршал выглядел чрезвычайно мрачно. На вопрос о том, что случилось, Тухачевский ответил, что узнал сейчас очень плохую новость — арестован Фельдман. После небольшой паузы он с болью добавил: "Это какая-то грандиозная провокация!" (80).

22 мая был арестован еще один участник "заговора" — комкор Роберт Петрович Эйдеман. Его вызвали из президиума Общественной партийной конференции, проходившей в Колонном зале Дома Союзов, и тут же увезли в НКВД (81). Официальным поводом к аресту Эйдемана послужило то, что он дал рекомендацию в партию Корку (82). Подобно Якиру, Эйдеман был крайне обеспокоен репрессиями против военных. В апреле 1937 года по окончании одного из партийных собраний он сказал своему знакомому: "Сегодня ночью у нас арестован еще один товарищ. Кажется, это был честный человек. Не понимаю..." (83).

26 мая Тухачевский отбыл в Куйбышев, где сразу же после приезда присутствовал на партконференции Приволжского военного округа. Один из командиров, хорошо знавший Маршала ранее, заметил, что за каких-нибудь два месяца тот стал совершенно седым (84). На следующем заседании конференции Тухачевский уже не появился (85). Его попросили по дороге в штаб округа заехать в обком партии. Через некоторое время оттуда вышел смертельно бледный П.Е. Дыбенко (которого Маршал должен был заменить на посту командующего войсками округа) и, явившись к жене Тухачевского, сообщил ей об его аресте (86).

Следующим на очереди был командарм 1-ого ранга Иероним Петрович Уборевич. Днем 29 мая он получил телеграмму о вызове в Москву и был арестован на смоленском вокзале, когда поднимался в свой вагон-салон (87).

Последним был взят под стражу командарм 1-ого ранга Иона Эммануилович Якир. 30 мая ему позвонил Ворошилов и приказал немедленно прибыть в Москву на внеочередное засе-

дание Военного Совета. Якир сказал, что может вылететь самолетом, но Ворошилов велел ему ехать только поездом — ясное указание на то, что Нарком обороны знал планы НКВД во всех деталях (88). В тот же день Якир выехал из Киева поездом, отправившимся в 1 час 15 минут дня. На рассвете 31 мая поезд остановился в Брянске. В вагон вошли четыре сотрудника НКВД и арестовали командарма. Его адъютант В.А.Захарченко не был сразу задержан, и Якир через него смог сообщить жене и сыну о том, что ни в чем не виновен. У оперативных работников НКВД Якир потребовал ордер на арест, а когда ему показали ордер, неожиданно попросил дополнительно, чтобы ему показали решение Центрального Комитета партии. Такого у них, естественно, не было, и они заявили Якиру, что все нужные документы ему покажут в Москве. Затем командарма бросили в специальный автомобиль и повезли в столицу с максимально высокой скоростью. Во внутренней тюрьме НКВД его втолкнули в одиночную камеру, сорвав все знаки отличия, ордена и медали (89).

Наконец, 31 мая в пять часов вечера армейский комиссар 2-ого ранга А.С.Булин вместе с еще одним командиром посетили начальника Политуправления Красной Армии Я.Б.Гамарника у него дома, так как он был болен. Они сообщили ему об аресте Якира и о снятии его самого с поста начальника Политуправления РККА. После того как они вышли из комнаты Гамарника, оттуда раздался выстрел... (90).

1 июня в "Правде" появилось сообщение о том, что "бывший член ЦК ВКП(б) Я.Б.Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством".

В этот же день Якир написал из тюрьмы письмо Сталину, в котором, в частности, говорилось: "...я честный и преданный партии, государству, народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей... Я честен каждым своим словом, я умру со словами любви к Вам, к партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма". На этом письме Сталин начертил: "Подлец и проститутка", а Ворошилов добавил: "Совершенно точное определение", Молотов под этим подписался, а Каганович приписал: "Предателю, сволочи и ... (далее следует хулиганское, нецензурное слово) одна кара —

смертная казнь" (91). Накануне суда, в смертном приговоре которого никаких сомнений не было, Якир обратился к Наркому обороны со следующим письмом: "К.Е.Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я прошу Вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой я обратился к Н.И.Ежову. Якир, 9 июня 1937 г." На это письмо командарма Ворошилов наложил резолюцию: "Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще. К.Ворошилов. 10 июня 1937 г." (92). Эти документы свидетельствуют о том, что положение арестованных военачальников было совершенно безнадежным, они ничего не могли доказать и их судьба еще до суда была вполне определена. Судебное разбирательство в таких условиях было лишь простой формальностью.

По сообщению "Правды" от 12 июня 1937 года, в состав суда, рассмотревшего 11 июня на закрытом заседании "дело" Тухачевского и других военных деятелей, входили председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР армвоенюрист В.В.Ульрих, Маршал Советского Союза С.М.Буденный, Маршал Советского Союза В.К.Блюхер, командарм 1-ого ранга Б.М.Шапошников, командарм 1-ого ранга И.П.Белов, командарм 2-ого ранга Я.И.Алкснис, командарм 2-ого ранга П.Е.Дыбенко, командарм 2-ого ранга Н.Д.Каширин и комдив Е.И.Горячев. Из указанного списка лишь Ульрих, Шапошников и Буденный переживут невредимыми сталинский террор. Блюхер, Белов, Алкснис, Дыбенко, Каширин и Горячев погибнут в 1938 году; при этом Белов, Алкснис, Дыбенко и Горячев будут расстреляны вместе с большой группой видных партийных, государственных и военных деятелей в один день — 29 июля, а Блюхер погибнет во время изнурительных допросов в Лефортовской тюрьме 9 ноября (93).

В 1956-57 годах было установлено, что накануне судебного процесса все обвиняемые военачальники вызывались к следователям, которые знакомили их с "показаниями", полученными от них же на предварительном следствии, и требовали, чтобы арестованные подтвердили эти "показания" в суде. В ходе самого процесса подсудимые также находились под постоянным контролем своих следователей. Так, бывший следователь Авсеевич на допросе 5 июля 1956 года показал: "После

того как следствие было окончено, состоялось оперативное совещание, — это было за сутки или двое до процесса, — на котором И.М. Леплевский дал указание всем нам, принимавшим участие в следствии, еще раз побеседовать с подсудимыми и убедить их, чтобы они в суде подтвердили показания, данные на следствии. Накануне суда я беседовал с Примаковым, он обещал подтвердить в суде свои показания. С другими подсудимыми беседовали другие работники отдела. Кроме того, было дано указание сопровождать своих подследственных в суд, быть с ними вместе в комнатах ожидания. В день суда я находился с Примаковым, как того требовали инструкции руководства отдела. (...) Все арестованные находились в отдельных комнатах, и с каждым находился его следователь. Среди других, я помню, были Ушаков и Эстрин. Я спрашивал Примакова, как он думает вести себя в суде, Примаков ответил, что подтвердит свои показания. По указанию руководства я еще раз напомнил ему, что признание его в суде обеспечит его участь. Так говорить было дано указание и другим сотрудникам отдела, выделенным для сопровождения арестованных в суд... Накануне заседания, по указанию Леплевского, я еще раз знакомил Примакова с копиями его же показаний” (94).

Сами же эти “показания” Примакова, как и других обвиняемых, данные ими на допросах во время предварительного следствия и затем подтвержденные в суде, являлись вымышленными или им подсказанными и были получены от них “путем применения незаконных методов следствия”, то есть путем обмана, угроз и мер физического воздействия. Так, тот же Авсеевич на допросе в военной прокуратуре 5 июля 1956 года показал: “Мне известно, что в мае 1937 года на одном из совещаний помощник начальника отдела Ушаков доложил Леплевскому, что Уборевич не хочет давать показания. Леплевский на этом совещании приказал Ушакову применить к Уборевичу методы физического воздействия. Применялись ли методы физического воздействия к другим арестованным по данному делу, я точно сказать не могу, но, исходя из обстановки того времени, считаю, что к ним методы физического воздействия применялись” (95). Другой бывший сотрудник Особого отдела ГУГБ НКВД СССР В.И. Бударев на допросе в военной прокуратуре 3 июня 1956 года показал: “Дело Примакова я лично не расследовал, но в ходе следствия мне поручалось часами сидеть

с ним, пока он писал свои показания сам. Заместитель начальника отдела Карелин и начальник отделения Авсеевич давали мне и другим работникам указания сидеть с Примаковым и тогда, когда он еще не давал показаний. Делалось это для того, чтобы не давать ему спать, понудить его дать показания о своем участии в троцкистской организации. В это время ему разрешили спать только 2-3 часа в день в кабинете, где его допрашивали и куда ему приносили пищу. Таким образом, его не оставляли одного... Во время расследования дел Примакова и Путьны было известно, что оба эти лица дали показания об участии в заговоре после избития их в Лефортовской тюрьме" (96). Бывший заместитель начальника отделения Особого отдела ГУГБ НКВД СССР Я.Л.Карпейский на допросе в военной прокуратуре 4 июля 1956 года показал: "...Из группы военных, осужденных вместе с Тухачевским, я принимал участие в расследовании только дела Эйдемана. В 20-х числах мая 1937 года я был вызван к Леплевскому, который сказал мне, что Эйдеман изобличается... как участник военно-фашистского заговора... Никаких документов или материалов, уличающих Эйдемана, Леплевский мне не дал. Я привез Эйдемана к себе в кабинет и, пригласив помощника начальника отделения Дергачева, приступил к допросу. Допрос велся без предъявления Эйдеману конкретных материалов, но ему было сказано, что он уличается как участник военно-фашистского заговора и что его запирательство бесполезно. Однако Эйдеман не сознавался. Спустя 3-4 часа пришел заместитель начальника отдела Агас и взял допрос в свои руки. С его приходом допрос принял более чем резкий характер. Так, Агас заявлял, что с ним, Эйдеманом, церемониться не будут и что "не мытьем, так катаньем" от него будут получены показания. При этом Агас заявил Эйдеману, что если он здесь не даст показаний, то с ним будут разговаривать в другом месте. Эйдеман же продолжал отрицать свое участие в заговоре до самого конца допроса. Агас прекратил допрос и предложил направить Эйдемана в тюрьму. На другой день я был срочно вызван из квартиры в Лефортовскую тюрьму. Придя в следственный кабинет тюрьмы, я застал там Леплевского, Агаса и Дергачева, допрашивавших Эйдемана. При этом перед Эйдеманом лежало заявление, уже написанное им на имя Наркома, о том, что он признает себя виновным и готов дать показания. Леплевский предложил мне за-

писать показания Эйдемана. Допрос вел сам Леплевский, а я записывал. Необычный тон разговора Леплевского и Агаса с Эйдеманом, а также возбужденное состояние последнего дали мне основание полагать, что в отношении Эйдемана до моего прихода были применены угрозы или даже меры физического воздействия. Следует учесть, что во время допроса Эйдемана из соседних кабинетов доносились крики, стоны людей и шум...” (97). Бывший помощник начальника Особого отдела ГУГБ НКВД СССР З.М. Ушаков, принимавший участие в допросах Тухачевского, Якира, Фельдмана и других, на допросах показывал, что он широко применял к арестованным незаконные методы следствия. В собственноручных показаниях Ушаков писал о том, что 15 мая 1937 года был арестован Фельдман, следствие по делу которого было поручено ему, Ушакову. Так как на Фельдмана было лишь косвенное показание Медведева, он, Ушаков, даже выразил удивление, почему ему не дали более важную фигуру и с конкретной ролью. На допросах, как показал Ушаков, Фельдман признался ему в своей причастности к заговору. Тогда он, Ушаков, взял личное дело Фельдмана и в результате его изучения пришел к выводу, что Фельдман связан узами личной дружбы с Тухачевским, Якиром и рядом других крупных командиров. Он понял, что Фельдман связан по заговору с Тухачевским и другими, и, вызвав Фельдмана, заперся с ним в своем кабинете, и к вечеру 19 мая Фельдман на его, Ушакова, имя написал известные показания о военно-фашистском заговоре с участием Тухачевского, Якира, Эйдемана и других. Эти показания Ушакова и по датам, и по содержанию совпадают с материалами следственного дела Фельдмана (98). В ходе прокурорской проверки “дела о военно-фашистском заговоре” был обнаружен ряд заявлений арестованных, из которых видно, что “показания”, ими подписанные, являлись вымышленными и им подсказанными. Так, в записке на имя следователя Ушакова арестованный Фельдман 31 мая 1937 года по поводу своего заявления, в котором он признал себя виновным, писал: “Начало и концовку я писал по собственному усмотрению. Уверен, что Вы меня вызовете к себе и лично укажете, переписать недолго” (99). В другой записке Ушакову, написанной в тот же день, Фельдман писал: “Я хочу через Вас или тов. Леплевского передать Народному комиссару внутренних дел Союза ССР тов. Ежову, что я готов, если это нужно для

Красной Армии, выступить перед кем угодно и где угодно и рассказать все, что я знаю о военном заговоре... Вы не ошиблись, определив на первом же допросе, что Фельдман не законченный, неисправимый враг, а человек, над коим стоит поработать, потрудиться, чтобы он раскаялся и помог активно ударить по заговору" (100). В следственном деле Примакова было обнаружено несколько небольших листков бумаги, на которых он давал собственноручные "показания". Из них усматривается, что следствию удалось получить от Примакова ряд явно вымышленных показаний на видных военных руководителей. Например, накануне процесса, 10 июня, от Примакова были получены "показания" о том, что Каширин, который уже был утвержден членом специального присутствия Верховного Суда СССР по "делу Тухачевского", также является участником "военно-фашистского заговора". В этот же день от Примакова безуспешно пытались получить компрометирующие сведения на другого члена специального судебного присутствия — П.Е.Дыбенко (101). При изучении архивно-следственного дела Тухачевского на протоколе его допроса от 1 июня, в котором он признал себя виновным в том, что является руководителем "военно-фашистского заговора", были обнаружены пятна, напоминающие пятна крови. Проведенной 28 июня 1956 года судебно-медицинской экспертизой было установлено, что эти пятна действительно засохшие пятна крови (102).

Сильным средством давления на арестованных военачальников были угрозы следователей в адрес их родственников. Всем обвиняемым настойчиво внушалось, что судьба их близких зависит от результатов следствия: "Признайтесь, помогите органам разгромить заговор, и тогда ваших любимых никто не тронет".

Как было установлено дополнительной проверкой, проведенной военной прокуратурой в 1956-57 годах, Тухачевский, Якир, Уборевич и другие привлеченные по делу о "военно-фашистском заговоре в Красной Армии" и на предварительном следствии, и на суде признали себя виновными во всех предъявленных им обвинениях. Так, например, Тухачевский не только признался в том, что был главным руководителем "заговора", но и дал "показания" о принадлежности к "заговору" большого числа видных военных деятелей. По его словам, он вовлек в число "заговорщиков" в 1932 году Фельдмана, Смо-

лина и начальника кафедры Академии Генерального штаба РККА комкор М.И.Алафузо; в 1933 году им были втянуты в "заговор" комкор Н.А.Ефимов, Путна, Эйдеман, а в 1934 году — Примаков, заместитель командующего войсками Московского военного округа комкор Б.С.Горбачев, Василенко, а также начальник административно-мобилизационного управления Наркомата обороны СССР А.М.Вольпе, начальник управления военных сообщений Наркомата обороны СССР комкор Э.Ф.Аппога, заместитель начальника Политуправления Красной Армии Г.А.Осепян, начальник кафедры Академии Генерального штаба РККА П.И.Вакулич и многие другие (103). Все здесь перечисленные лица впоследствии были арестованы, осуждены и расстреляны как участники "военно-фашистского заговора". Проведенной в 1956 году прокурорской проверкой было признано, что все они были осуждены необоснованно, и потому были полностью реабилитированы.

Истины ради следует отметить, что на суде Тухачевский, Якир и Уборевич, хотя и признали себя полностью виновными, однако на вопросы судей отвечали крайне неконкретно, туманно, даже двусмысленно и весьма противоречиво. Так, например, на вопрос, в чем выражалась подготовка поражения авиации Красной Армии в будущей войне, Якир ответил абстрактными рассуждениями, заявив при этом: "Я вам толком не сумею сказать ничего, кроме того, что написал следователь". На вопрос, в чем заключалось вредительство в боевой подготовке войск, Якир ответил: "Я вам сказал и не хочу развешивать этот вопрос, я его разверну в особом письме". Но никакого письма к следственному и судебному делу Якира приобщено не было. А Тухачевский и Уборевич, считавшие себя главными руководителями "заговора", обнаружили в своих ответах полное незнание существенных подробностей намечавшегося ими "дворцового переворота" (104).

Хотя Тухачевский и его товарищи по несчастью и оговорили себя, обещания следователей не трогать в этом случае их родных выполнены не были. Сразу же после суда над военачальниками репрессии обрушились на их родственников, друзей и даже знакомых.

12 июня жена Якира Сарра Лазаревна с сыном Петром была выслана в Астрахань, причем паспорт у нее был изъят. Там они встретились с семьями Тухачевского, Уборевича, Гамарни-

ка и других. В начале сентября жену Якира арестовали (105). Четырнадцатилетний Петр был послан в детприемник. Через две недели ночью сотрудники НКВД забрали его оттуда, и он провел много лет в лагерях и тюрьмах. В одном из Каргопольских лагерей (Архангельская область) он встретил адъютанта отца и узнал от него подробности ареста командарма (106).

Жена Уборевича Нина Владимировна была сослана в Астрахань также 12 июня. Она скрывала от своей дочери, которой еще не было 13 лет, обвинения, выдвинутые против ее отца. Девочка узнала обо всем от Пети Якира. 5 сентября жена Уборевича была арестована. Она успела передать своей дочери маленькую фотографию ее отца, предчувствуя, что они уже никогда не увидятся. Через 19 лет, в 1956 году, дочь узнала, что ее мать "умерла" в тюрьме в 1941 году (107).

Дочь Уборевича поместили в детприемник, где она встретила других детей — Вету Гамарник, Светлану Тухачевскую, Славу Фельдмана... 22 сентября все они были вывезены на грузовике НКВД. Для них начался путь страданий: детдом, тюрьмы, пересылки, этапы, лагеря (108).

У Тухачевского была большая семья. Жена Маршала Нина Евгеньевна, его братья Александр и Николай были расстреляны. Три сестры были брошены в лагеря, дочь-подросток, когда достигла совершеннолетия, тоже была арестована. Мать Мавра Петровна и сестра Софья Николаевна умерли в ссылке (109). Из всей семьи Тухачевского выжили дочь и три сестры — они присутствовали на вечере, посвященном памяти расстрелянного Маршала, в Военной академии имени М.В.Фрунзе 15 февраля 1963 года (110).

Супруга Корка Екатерина была арестована 5 сентября и брошена в Акмолинский лагерь жен "изменников Родины" — в печально известный АЛЖИР. 13 июля 1941 года она вновь предстала перед судом, ее осудившим. 10 июня 1958 года Екатерина Корк была посмертно реабилитирована. Как следует из справки о ее реабилитации, бюро ЗАГС города Петропавловска (Казахская ССР) зарегистрировало смерть Екатерины Корк 2 августа 1943 года. В графе "причина смерти" стоит "неизвестна" (111).

Однако в реабилитационном деле жены Корка имеется другая дата ее смерти — правильная. Дело в том, что в 50-х годах сложилась практика выдачи родственникам лиц, ранее рас-

стрелянных по приговорам судов или несудебных органов, справок о смерти осужденных якобы в местах заключения с указанием в них вымышленной даты смерти (см: "Обзорная справка о работе Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР и военных трибуналов за 1953-1957 гг. по пересмотру дел на лиц, репрессированных в прошлые годы по обвинению в государственных преступлениях, подписанная начальником оргинспекторского отдела Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР, полковником юстиции С.Максимовым". — Особый Архив Военной Коллегии Верховного Суда СССР).

Е.И.Корк, Н.Е.Тухачевская, Н.В.Уборевич, Блюма Савельевна Гамарник были расстреляны 8-11 сентября 1941 года в Орловской политической тюрьме вместе с другими 152 заключенными (см: определения ВК СССР о прекращении уголовных дел в отношении Е.И.Корк, Н.Е.Тухачевской, Н.В.Уборевич и Б.С.Гамарник за отсутствием состава преступления. — Архив ВК ВС СССР).

Ужасающими были последствия казни над Тухачевским и его товарищами для Красной Армии. По подсчетам, сделанным генерал-лейтенантом А.И.Тодорским, сталинские репрессии вырубали из пяти Маршалов трех (М.Н.Тухачевского, В.К.Блюхера и А.И.Егорова), из пяти командармов 1-ого ранга — трех, из десяти командармов 2-ого ранга — всех, из 57 комкоров — 50, из 156 комдивов — 154, из 16 армейских комиссаров 1-ого и 2-ого рангов — всех, из 28 корпусных комиссаров — 25, из 64 дивизионных комиссаров — 58, из 456 полковников — 401 (113). К началу 1938 года число политработников в Красной Армии составляло всего лишь одну треть от штатного расписания. Поскольку на своих постах находилось 10500 человек, то можно сделать вывод, что по меньшей мере 20 тысяч политработников были репрессированы ("по меньшей мере", так как здесь не приняты в расчет замены, которые уже могли быть сделаны) (114). Число же членов партии в Красной Армии сократилось вдвое (115). На XVII съезде ВКП(б) Ворошилов сообщил, что 25,6 % личного состава армии были коммунистами (по другим данным, их было 24,2 %) (116). В январе 1937 года Красная Армия насчитывала 1 миллион 433 тысячи человек (117). Следовательно, потери среди армейских коммунистов составляли по меньшей мере 175 тысяч человек. Массовые репрессии и созданная ими атмосфера страха и недоверия серьез-

но подорвали боевые качества Красной Армии и явились одной из важнейших причин ее крупных неудач в начальный период Великой Отечественной войны (118). По авторитетному свидетельству Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, в результате трагических событий 1937-38 годов "уровень боевой подготовки войск упал очень сильно. Мало того, что армия, начиная с полков, была в значительной мере обезглавлена, она была еще и разложена этими событиями. Наблюдалось страшное падение дисциплины" (119).

Какими же мотивами руководствовался Сталин, санкционируя расправу над Тухачевским и другими высшими военачальниками, если известные нам факты опровергают версию о его обмане гитлеровской разведкой и свидетельствуют о том, что провокация против командования Красной Армии была подготовлена в стенах НКВД? Может быть, Сталин был введен тогда в трагическое заблуждение пробравшимися в органы государственной безопасности авантюристами, карьеристами и агентами вражеских разведок? Может быть, он глубоко верил в то, что ведет смертельную борьбу с действительными врагами советского народа? Оснований для таких утверждений нет никаких. Это еще один миф, и к тому же самый распространенный, самый живучий. По сути дела, рассуждения об обманутом кем-либо Сталине — не столько поиск истины, сколько отчаянная попытка уйти от нее, так как она страшна и непонятна для поверхностного ума. Здесь вспоминается и наивная, патриархальная вера русского крестьянства в доброго царя, которого дурачат окружающие его злые и чертовски хитрые министры; вера, казалось бы, разбитая в прах революцией. Однако разве могут пойти по дорожке, протоптанной неграмотными крестьянами, современные люди, образованные, живущие в век информации? К сожалению, могут, если при избытке всякой информации остается нехватка ее по важнейшим проблемам прошлой и настоящей жизни общества, если отсутствует подлинная гласность.

Все то, что стало известно о Сталине после XX съезда КПСС, неопровержимо доказывает, что он был главным инициатором массового террора 1937-38 годов. Именно от Сталина исходили директивы для НКВД о направлении дальнейших репрессивных ударов; именно Сталин и его приближенные создали и постоянно поддерживали в стране обстановку всеоб-

щей подозрительности, произвола и беззаконий, которая привела к гибели миллионов советских людей. Нет никаких фактов, которые позволили бы возложить инициативу в развязывании террора, начавшегося после убийства С.М.Кирова 1-ого декабря 1934 года, на тогдашнего Наркома внутренних дел СССР Г.Г.Ягоду; также было бы ошибкой видеть двигатель массовых репрессий 1937-38 годов в следующем Наркоме внутренних дел — Н.И.Ежове. Их вина, конечно, безмерна, но все-таки главный виновник — их "хозяин", Сталин. И Ягода, и Ежов, и затем Берия действовали по указаниям и под пристальным контролем Сталина. Именно он их в свое время заметил и впоследствии выдвинул на высокие руководящие должности, именно он защищал их от критики со стороны старых большевиков, членов ЦК и Политбюро ЦК партии. Показательна в этом отношении судьба Ежова. Сталин нашел его на незначительном провинциальном посту в начале 1928 года и взял его к себе на работу в Секретариат ЦК. Несколько лет Ежов находился в тени, совершенно не был известен в партии, но работал все время на глазах у Сталина и заслужил благосклонность "хозяина" своей собачьей преданностью и своим беспрекословным послушанием. Накануне роковых для партии и всей страны событий благодаря сталинской опеке Ежов совершил беспрецедентный взлет на самую вершину власти: в 1933 году он был назначен заведующим отделом партийного учета ЦК ВКП(б) и вместе с Л.М.Кагановичем и М.Ф.Шкирятовым возглавил чистку партии, проходившую в 1933-35 годах; в 1934 году, минуя ступень кандидата, стал членом ЦК и Оргбюро ЦК ВКП(б); 1-ого февраля 1935 года был избран секретарем ЦК, 28-ого февраля того же года стал председателем Комиссии партийного контроля при ЦК партии. Наконец, 25 сентября 1936 года Сталин и А.А.Жданов, отдыхавшие тогда в Сочи, послали в Москву членам Политбюро телеграмму о необходимости назначения Ежова Наркомом внутренних дел СССР вместо Ягоды и о необходимости более широко и решительно развернуть в партии и стране террор. В телеграмме, в частности, было сказано: "Мы считаем абсолютно необходимым, и спешным, чтобы тов. Ежов был бы назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно неспособным разоблачать троцкистско-зиновьевский блок. ОГПУ отстает на четыре года в этом деле" (120). Назначение это состоялось немедленно.

но после получения телеграммы и стало началом того кошмара, который в народе был заклеен как "ежовщина". Кстати сказать, в этом слове уже тогда проступило убеждение людей в неведении Сталина относительно происходивших в стране беззаконий. Когда Ежов, уже получивший звание Генерального комиссара госбезопасности и ставший кандидатом в члены Политбюро, с возложенной на него Сталиным "ответственной задачей" справился, — с лихвой наверстал упущенное Ягодой и "очистил" партию и государство от "троцкистско-зиновьевских заговорщиков", — тогда "хозяин" тихо убрал его с поста Наркома внутренних дел и затем так же без какого-либо шума расстрелял. Тем самым Сталин одним ударом поразил две цели: убрал главного свидетеля своих преступных деяний и возложил на Ежова и его подручных всю вину за истребление честных советских людей. На освободившееся место Наркома внутренних дел "хозяин" назначил очередного палача, правда, более ловкого, более осмотрительного, чем прежние, — Л.П.Берия.

В 1953-57 годах в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Баку прошло несколько больших процессов над некоторыми бывшими руководящими работниками НКВД-НКГБ-МГБ-МВД СССР. Эти суды убедительно показали, что в годы культа личности Сталина руководящий состав органов государственной безопасности превратился в сборный пункт для всякого рода негодяев, среди которых были люди с самым темным политическим и уголовным прошлым. Отвратительному моральному облику их часто соответствовал и крайне низкий интеллектуальный уровень. Все это не было случайностью. Именно такие люди и были нужны Сталину в системе госбезопасности, чтобы превратить ее в беспощадную карательную силу, выведенную из-под контроля партии и слепо подчиненную только ему, Сталину.

Было бы глубоким заблуждением считать, что лишь вера Сталина в правдивость клеветнических материалов, фабриковавшихся в НКВД, была причиной гибели видных партийных и государственных деятелей. Нет, клевета против неугодных Сталину людей им же и поощрялась; она служила не причиной, но только поводом для ареста и последующего осуждения невиновных. При этом во многих случаях сам Сталин и создавал костяк версии для следствия по делам, связанным с осуждением наиболее видных деятелей партии и государства. А следо-

ватели НКВД вместо того, чтобы тщательно проверить ту или иную сталинскую версию, должны были лишь додумать ее, развернуть ее в деталях и затем добиться во что бы то ни стало признания обвиняемых. Было бы, например, вполне по силам следователям НКВД разоблачить гитлеровскую фальшивку, компрометирующую Тухачевского. Криминалистика уже предполагала достаточными средствами для выяснения истины в подобных случаях. Однако никакой экспертизы проведено не было. Да и само следствие по "делу Тухачевского" было неоправданно скоротечным даже по меркам "сталинского правосудия": так, после ареста Якира и до окончания следствия (9-ого июня) прошло всего лишь девять дней; на 12-ый день командарм был уже расстрелян.

Разве не показательно, что, санкционируя арест или расстрел того или иного из своих прежних соратников и друзей, Сталин в редчайших случаях выражал желание лично встретиться с ними и выяснить, что же произошло, почему после многих лет честного исполнения своего партийного долга они, заслуженные, уважаемые всей страной люди стали вдруг "шпионами, террористами и вредителями". Внимательно следя за ходом следствия по многим важнейшим "делам", за поведением многих арестованных, Сталин хорошо знал, что некоторые из них так и не признали себя виновными. Однако он все-таки дал санкцию на их расстрел. Сейчас известно, что Сталин получал заявления и предсмертные письма от многих бывших своих соратников, в которых они писали о своей невинности, преданности ему, Сталину, партии и народу и просили его принять их лично и выслушать; в этих же посланиях они иногда подробно описывали те истязания и издевательства, которые им пришлось перенести во время следствия. Но Сталин неизменно отклонял эти просьбы.

Если исходить из предположения, что Сталин был глубоко убежден в виновности осужденных по его санкциям людей, то совершенно неясно, почему он так внимательно заботился о сохранении абсолютной тайны следствия, о том, чтобы ни один посторонний взгляд и даже взгляд прокурора не проник в кабинеты и тюремные камеры НКВД? Почему Сталин настоял сразу же после убийства Кирова, когда его обстоятельства не были еще известны ему, на отмене сколько-нибудь нормального судебного разбирательства по делам, связанным с особо

опасными государственными преступлениями? Более того, почему он санкционировал создание целой системы по наведению террора на всю страну — Особое совещание при НКВД? Так называемые "тройки", сеть которых покрыла весь Советский Союз, приговаривали людей к длительным срокам заключения или расстрелу вообще без судебного разбирательства, хотя бы и формального, заочно, списками. В годы правления Сталина органы НКВД сами арестовывали людей, сами вели следствие, сами проверяли соблюдение следователями социалистической законности, сами судили и выносили приговор и сами же приводили его в исполнение.

Все это очень мало согласуется с легендой об обманутом злодеями из НКВД Сталине.

Но если Сталин знал, что Тухачевский, Якир, Уборевич и другие ни в чем не виноваты, то почему обрек их на смерть? Вопрос этот не простой, так как Сталин был не из тех людей, кто открыто говорит о своих истинных намерениях. Сталин принадлежал к числу молчаливых и лукавых тиранов. Языком своим он пользовался не для откровенного выражения своих чувств, мыслей и планов, но, наоборот, для их изощенного сокрытия. Естественно, что с еще большим недоверием Сталин относился к привычке записывать свои впечатления и замыслы или отдавать деликатные приказы в письменной форме. Поэтому ответ на вопрос о мотивах, побудивших Сталина уничтожить лучших своих военачальников, может быть только предположением, основанным на различных косвенных свидетельствах и анализе логики сталинского поведения в определенной политической ситуации.

Режим личной власти Сталина, опиравшийся на разросшуюся и вышедшую из-под контроля народа бюрократию, был в целом исключительно прочен. Но и он имел уязвимые места. Во-первых, даже самые строгие меры предосторожности не способны совершенно исключить возможность убийства диктатора. Реальных свидетельств того, что кто-нибудь когда-либо серьезно покушался на жизнь Сталина, нет. Есть несколько туманных сообщений о планировавшихся покушениях, но все эти попытки раскрывались задолго до каких-то практических шагов. Тем не менее Сталин испытывал мучительный страх перед возможным террористическим актом. Именно этот страх вынуждал органы государственной безопасности предпринимать

поистине титанические усилия для обеспечения личной неприкосновенности Сталина, где бы он ни находился. Более того, сам Сталин постоянно вникал в малейшие детали охранительных мероприятий НКВД, внося в них различные изменения и дополнения. Это, надо полагать, он делал вполне профессионально, так как в прошлом сам принадлежал к "экспроприаторам" и, следовательно, хорошо знал повадки террористов, их сильные и слабые стороны; он хорошо знал и то, на какое самопожертвование они порой идут ради достижения цели. Именно этот страх перед террористом, способным на самые отчаянные действия, заставил Сталина вычеркнуть героическую войну народовольцев против царского самодержавия из истории российского освободительного движения. По требованию Сталина народничество и народовольчество были объявлены исторически вредными явлениями, а их теоретики — "злейшими врагами марксизма" (121). Эта новая точка зрения нашла выражение, например, в статье И.А.Меницкого "Народничество", опубликованной в 1-ом издании БСЭ в 1939 году. Там было сказано: "Презренная банда изменников и предателей Родины* заимствовала из арсенала народничества террористические и заговорщические средства и методы борьбы, использовала индивидуальный террор в контрреволюционных реставраторских целях". На вопрос, кто же родоначальник этого взгляда, ясный ответ можно найти в выступлении А.А.Жданова на заседании бюро Ленинградского горкома ВКП(б) от 25 февраля 1935 года. В стенограмме этого выступления сказано: "Между прочим, товарищ Сталин не знал, что мы историю партии проходим только до 1917 года. Он сделал два замечания по этому поводу, что если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов, и что с точки зрения истории партии период перед 1917 годом является предисторией". (122). Выводы из этого сталинского заявления были сделаны немедленно: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев было распущено — и как раз не только потому, что оно напоминало о революции и ее идеалах, мешало фальсифицировать историю революции и в определенной мере сдерживало массовый террор, но также из-за того, что в общест-

* Здесь имеются в виду лица, ставшие жертвой необоснованных репрессий в 1934-38 годах.

ве нашли приют "террористы", то есть доживающие свои последние дни народники и народовольцы; в Музее Революции СССР была спрятана в подвал экспозиция, посвященная "Народной воле", — отныне террористы, убийцы Александра II, перестают напоминать о возможности изменения формы правления с помощью бомб. Одним словом, Сталин вполне мог предположить, и это было бы логично, что наиболее подготовленным для роли террориста является человек военный, то есть соответствующим образом обученный и вооруженный. А раз так, то из армии нужно изъять всех недовольных и исключить даже саму возможность их появления там. Здесь уместно вспомнить ту оценку, которую дал Ф.Энгельс якобинскому террору 1793 года: "Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх" (123). Во-вторых, еще одним уязвимым местом любого авторитарного режима является возможность успешного военного переворота. Страх Сталина перед таким исходом событий заметно усилился после февральско-мартовского (1937 года) Пленума ЦК ВКП(б), когда жертвами сталинских репрессий оказались не только бывшие участники различных оппозиций, но и основные кадры Коммунистической партии и Советского государства. На этом пути — на пути резкого расширения террора Сталин мог встретить решительный отпор. Действительно, когда стали уничтожать коммунистов, которые никогда ни в каких оппозициях не участвовали, более того, были соратниками самого Сталина, то уже никто не мог чувствовать себя в безопасности. Это ощущение занесенного над головой топора усиливалось тем обстоятельством, что не было видно никакого принципа в отборе жертв. Поэтому Сталин вполне резонно мог думать и даже подозревать, что высшее военное командование, видные представители которого, неоднократно выражали свое недоумение и иногда возмущение усиливающимися репрессиями в стране, могло теперь пойти и на открытое сопротивление. Грубо поправ нормы Устава партии, ленинские принципы партийной и государственной жизни, революционные идеалы и советские законы, Сталин фактически освободил своих бывших товарищей от обязательств по отношению к себе как к Генеральному секретарю ЦК. Сталин, видимо, хорошо понимал это и нанес сокрушительный удар по командному составу Красной Армии именно тог-

да, когда приступил к хладнокровному уничтожению тех, с кем вместе победоносно прошел сквозь огонь революции и гражданской войны. Разумеется, все это не означает, что "военный заговор" против Сталина кем-то действительно был подготовлен. О существовании его нет никаких фактов. Нет их даже в воспоминаниях бывших советских военнослужащих и сотрудников НКВД, в разное время перешедших на Запад. Нет их в гитлеровских секретных архивах. Не было их и у Сталина. Однако, по его мнению, возможность "военного заговора" нельзя было исключить. А в делах, связанных с обеспечением сохранности и укрепления своей власти, Сталин был всегда последователен до конца — возможность заговора, даже и чисто теоретическая, должна была быть ликвидирована, что и было им с дьявольским мастерством сделано.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Философская энциклопедия. Т. 3, М., 1964, с. 116. В ФЭ указано, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК были репрессированы 98 человек. Эта цифра является заниженной. По подсчетам автора статьи, были репрессированы 110 человек.
2. XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б).
- 2-а. Цифры приведены по подсчетам автора статьи, сделанным на основе изучения материалов Архива Военной Коллегии Верх. Суда СССР. Погрешность расчетов составляет $\pm 8-10\%$.
- 2-б. А.И.Тодорский. Рецензия на книгу С.М.Буденного "Пройденный путь. Неопубликованная рукопись. М., 1963 г.
3. См.: Анфилов В.А. Бессмертный подвиг. М., 1971; Коротков И.А. История советской военной мысли. М., 1980; Военотехнический прогресс и вооруженные силы СССР. М., 1982; Советская военная энциклопедия. Т. 8. М., 1980, с. 151; Тухачевский М.Н. Избранные произведения. Тт. 1-2. М., 1964.
4. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987, с. 613.
- 5 Из телеграфного разговора Сталина с Буденным и Ворошиловым 3 февраля 1920 года. Цит. по указ. рец.

6. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987, с. 476, 613.
7. Военно-исторический журнал. 1962, № 2.
8. См. об этих событиях: Никулин Л.В. Тухачевский. (Биографический очерк). М., 1964, с. 114-130; Краткая история гражданской войны в СССР. Изд. 2-ое. М., 1962, с. 430-446.
9. Бонч-Бруевич В.Л. На боевых постах Февральской и Октябрьской революций. М., 1930, с. 283.
10. См., например: История ВКП (б). Краткий курс. М., 1952, с. 230-231.
11. Архив Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Определение № 4н-0280/57 Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 31 января 1957 года.
12. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17-31 октября 1961 г. Стенографический отчет. М., 1962, т. II, с. 585-586.
13. Никулин Л.В. Указ соч., с. 193.
14. "Социалистическая индустрия" от 24 мая 1987 г., с. 4.
- 14-а. Среди этих "других" интерес представляют: В. Рапопорт и Ю. Алексеев, "Измена Родине. Очерки из истории РККА. 1918-1938 гг."; Walter Goerlitz: «History of the German General Staff. 1657-1945», New-York, 1953; W.G. Krivitsky, «Ich war Stalins Dienst», Amsterdam, 1940.
15. Шелленберг В. Мемуары (на англ. яз.). Лондон, 1956, с. 46-47
16. Коллекция ЦГАОР СССР: Внутренняя линия (записка); Кусонский – фон Лампе. 1 мая 1936 г.
17. Александровский Б.Н. Из пережитого в чужих краях. М., 1969, с. 114-115.
18. М. Геллер, А. Некрич. Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней. Изд. 2-ое. Лондон, 1986, с. 333; Советский энциклопедический словарь. М., 1985, с. 1109; косвенное свидетельство ее связи с ОГПУ см.: Шнейдер А. Записки старого москвича. М., 1966, с. 118-119.
19. См.: Выступление подполковника Генерального штаба В. Дапишева на совещании по истории Великой Отечественной войны в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 18 февраля 1966 г.; Эрнст Генри (С.Н. Ростовский) в "Гранях", №63, 1967 г., с. 195; Некрич А.М. 1941. 22 июня. М., 1965, с. 86-87. Советский военный писатель И.В. Дубинский, соглашаясь с тем, что идея скомпрометировать высших командиров Красной Армии принадлежит бывшему белогвардейскому генералу Николаю Скоблину, которого он вывел в своей книге "Наперекор ветрам. Повесть о И.Э. Якире" под псевдонимом "Скорпион", утверждает, однако, что идея эта якобы была исключительно личной инициативой Скоблина.

20. Неопубликованные воспоминания Конюкова Н.Г., бывшего в 1937 году заместителем начальника Политуправления Белорусского военного округа.
21. Петров Ю.П. Партийное строительство в Советской армии и флоте. Деятельность КПСС по созданию и укреплению политорганов, партийных и комсомольских организаций в вооруженных силах (1918-1961 гг.). М., 1964, с. 300.
22. Дубинский И. Наперекор ветрам. Повесть о И.Э.Якире. М., 1964, с. 265; Архив Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Заключение заместителя Главного военного прокурора полковника юстиции Д.Терехова, утвержденное Генеральным прокурором СССР Р.А.Руденко, по дополнительной проверке "дела Тухачевского и других" от 11 января 1957 г., с. 11.
23. Заключение заместителя Главного военного прокурора полковника юстиции Л.Терехова..., с. 11.
24. Там же, с. 12.
25. О возможности того, что на судей было оказано такое давление, см.: Никулин Л.В. Последние дни Маршала. — "Огонек", №13, март 1963 г.
26. Роберт Конквест. Большой Террор. Перевод с англ. Л. Владимирова. Флоренция, 1974, с. 419.
27. Заключение заместителя Главного военного прокурора полковника юстиции Л.Терехова..., с. 12.
28. Дубинский И. Наперекор ветрам. ..., с. 243; Командарм Якир. Воспоминания друзей и соратников. М., 1963, с. 224.
29. Дубинский И. Указ. соч., с. 245-246; Дубинский И. Портреты и силуэты. М., 1987, с. 146; Советская энциклопедия истории Украины. На укр. яз. Т. 4. Киев, 1972, с. 528.
30. Дубинский И. Наперекор ветрам. ..., с. 248.
31. Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра. М., 1936, с. 34; Командарм Якир. Воспоминания друзей..., с. 224.
32. Дубинский И. Указ. соч., с. 246.
33. Роберт Конквест. Указ. соч., с. 396.
34. Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра, с. 36.
35. Там же, с.
36. Дубинский И. Указ. соч., с. 249; Командарм Якир. Воспоминания друзей..., с. 224; Советская энциклопедия истории Украины Т. 1. Киев, 1969, с. 436.

37. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1983, с. 557.
38. Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического блока, с. 37.
39. Процесс антисоветского троцкистского центра. М., 1937, с. 81.
40. Там же, с. 54.
41. Дубинский И. Указ. соч., с. 245-247.
42. Там же, с. 248.
43. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, с. 520; Спирин Л.М. Крах одной авантюры. М., 1971, с. 84; Советская энциклопедия истории Украины. Т. 4. Киев, 1972, с. 45.
44. Дубинский И. Указ. соч., с. 250.
45. Там же, с. 251; Военно-исторический журнал. 1965, №6.
46. Дубинский И. Указ. соч., с. 261.
47. Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра, с. 116.
48. Советская военная энциклопедия. Т. 6, М., 1978, с. 640.
49. Архив Военной Коллегии Верховного Суда СССР. Определение № 4н-0280/57 Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 31 января 1957 г., с. 1.
50. Там же.
51. Дубинский И. Примаков. М., 1968, с. 82, 124.
52. Там же, с. 139-141, 155.
53. Дубинский И. Наперекор ветрам. ..., с. 249; Советская энциклопедия истории Украины. Т. 4. Киев, 1972, с. 312.
54. Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра, с. 22.
55. Дубинский И. Наперекор ветрам. ..., с. 261.
56. Процесс антисоветского троцкистского центра. Издание на англ. яз. М., 1937, с. 105.
57. Там же, с. 146.
58. Роберт.Конквест. Указ. соч., с. 401.
59. Командарм Якир. Воспоминания друзей..., с. 225-226.
60. Там же, с. 224-225; Неопубликованные воспоминания Конюкова Н.Г.
61. См.: Сталин И.В. О недостатках партийной работы и мерах ликвида-

ции троцкистских и иных двурушников. Доклад на Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 г. "Правда" от 29 марта 1937 г.

62. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17-31 октября 1961 г. Стенографический отчет. I. М., 1962, т. II, с. 216, 352.

63. Петров Ю.П. Указ. соч., с. .

64. См. статью Жогина "Об извращениях Вышинского" в журнале "Советское государство и право", 1965, № 3, с. 26. О продолжении жестокой чистки прокуратуры и в дальнейшем см.: "Социалистическая законность", 1938, № 1, статья "Кадры". К апрелю 1937 года был арестован Е.Б.Пашуканис, заместитель Наркома юстиции СССР и ведущий теоретик права в СССР, отстаивавший необходимость строгого соблюдения социалистической законности органами правосудия (см.: Вышинский, "Против антимарксистских теорий права". "Правда" от 9 апреля 1937 г., с. 2-3).

65. Г.Г.Ягода был арестован 3 апреля 1937 г. "ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера" ("Правда" от 4 апреля 1937 г.). О назначении нового Наркома связи см.: "Правда" от 6 апреля 1937 г.

66. Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1926 гг. М., 1979, с. 28-29; Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, с. 141.

67. Дубинский И. Наперекор ветрам. ..., с. 262; "Иона очень любил Гарькавого, — вспоминала жена Якира. — ...и уж совсем невозможно передать, что пережил он, когда в начале 1937 года Гарькавого арестовали. Иона толкался в НКВД, ездил к Сталину" (Командарм Якир. Воспоминания друзей..., с. 211-212, 225).

68. Роберт Конквест. Указ. соч., с. 404.

69. Никулин Л.В. Тухачевский. (Биографический очерк), с. 189-190.

70. Маршал Тухачевский. Воспоминания друзей и соратников. М., 1965, с. 220-221.

71. Никулин Л.В. Указ. соч., с. 189.

72. КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. Изд. 2-ое. М., 1967, с. 229.

73. Там же, с. 231.

74. Благодатов А.В. Указ. соч., с. 20-22; Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, с. 321; Гаглов И.И., Палант М.А. Кавалер пяти орденов. М., 1964.

75. Заключение заместителя Главного военного прокурора полковника юстиции Л.Терехова..., с. 3-4.

76. Там же, с. 5.

77. Шелленберг В. Мемуары. На нем. яз. Кельн, 1959, с. 50.
78. Определение № 4н-0280/57 Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 31 января 1957 г., с. 1.
79. Там же.
80. Маршал Тухачевский. Воспоминания друзей..., с. 134.
81. Панков Д.В. Комкор Эйдеман. М., 1965, с. 103.
82. Панков Д.В. Солдат революции. "Вопросы истории КПСС", 1964, № 12, с. 96.
83. Там же.
84. Никулин Л.В. Указ. соч., с. 190.
85. Маршал Тухачевский. Воспоминания друзей..., с. 128; см. также "Военно-исторический журнал", 1965, №10.
86. Никулин Л.В. Указ. соч., с. 190
87. Командарм Уборевич. Воспоминания друзей и соратников. М., 1964, с. 206, 223.
88. Командарм Якир. Воспоминания друзей..., с. 229.
89. Там же, с. 231-232; Дубинский И. Наперекор ветрам. ..., с. 263, 264-265.
90. "Военно-исторический журнал". 1964, №5.
91. XXII съезд Коммунистической партии..., Т. II. с. 403.
92. Там же.
93. Кондратьев Н. Маршал Блюхер. М., 1965, с. 292; Душенькин В. От солдата до маршала. М., 1961, с. 221; БСЭ, 3-е изд., т. 3, с. 434.
94. Заключение заместителя Главного военного прокурора полковника юстиции Д.Терехова..., с. 11-12.
95. Там же, с. 5.
96. Там же, с. 5-6.
97. Там же, с. 6-7.
98. Там же, с. 7.
99. Там же, с. 7-8.
100. Там же, с. 8.
101. Там же.
102. Там же, с. 8-9.
103. Там же, с. 9.

104. Определение № 4н-0280/57 Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР от 31 августа 1957 г., с. 4-5.
105. Командарм Якир. Воспоминания друзей..., с. 230-231.
106. Там же.
107. Командарм Уборевич. Воспоминания друзей..., с. 232-233.
108. Там же, с. 233.
109. Никулин Л.В. Указ. соч., с. 191.
110. Тодорский А.И. Маршал Тухачевский. М., 1963, с. 3-4. На этом вечере присутствовали дочь Тухачевского Светлана и его сестры Ольга, Елизавета и Мария.
111. "Вечерний Таллин" от 3 августа 1987 г.
112. Письмо Петра Якира в редакцию журнала "Коммунист".
113. "Огонек", 1987, №26, с. 6.
114. Петров Ю.П. Указ. соч., с. 307.
115. Там же, с. 312.
116. XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.-Л., 1934, с. 233; История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 1. М., 1961, с. 98.
117. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 1. М., 1961, с. 90.
118. См.: Симонов К. Уроки истории и долг писателя. — Наука и жизнь, 1987, № 6.
119. "Военно-исторический журнал". 1987, № 9, с. 50.
120. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда партии 25 февраля 1956 г. Лондон, 1986, с. 19-20.
121. История и историки. "Историография истории СССР". Сб. статей. М., 1965, с. 256.
122. Там же, с. 257.
123. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е. Т. 33, М., 1964, с. 45.



Игорь Померанцев

ВСХЛИПЫ ПО УГЛАМ

Хитрость человека не красит. Но Лину красит все, что ни сделает. Придет с яблоком в кровать и так хрустеть начнет, что и медведь проснется. Отхрустит, а огрызок мне в ноздрю вставит. Вытащу огрызок, дожую, с косточками и ноготками, и счастливо усну. Ложится она поздно, когда я уже сплю. Любит сидеть на кухне одна. Обложится книгами по хиромантии и астрологии, откупорит бутылку и в плавание. Палуба загружена амфорами. Ночью слышно, как они жуют песок. Их ждут поэты Лесбоса, книжники Александрии, ссыльные Херсонеса. Лина спускается в спальню, включает лампу, вытаскивает из-под одеяла мою ладонь. Изучает. Рядом с ней открытый фолиант. Со сна он кажется гигантским. Что там: карта ладони или карта луны? Ее губы шепчут приговор. Нет, это не сон. Я приговорен к шелесту и шороху. Фолиант закрывается. Мне предначертан сон, и я не ропщу. Рука у нее слабая, и бутылка, пока льется вино, то и дело позвякивает о кромку бокала.

Здесь ей куда лучше, чем в Германии. А мне нравилось там. Но Лина сказала:

— Они вино подслащивают. Не хочу здесь жить.

А что плохого в дурном вкусе? Когда вокруг китч, себя больше уважаешь. По контрасту. Я лично встречал людей, которые дружат исключительно с теми, кто проще и глупей. Ты тогда и знать, и талант. Пьешь себе рейнское, слушаешь оперетту, почитываешь гуманистов. Одно к одному, а ты в выигрыше. Я пробовал возражать:

— Так бери другие вина. Заморские. В супермаркете даже молдавское времен господаря Стефана.

— Здесь воздух рейнским пропах.

— Но белое франконское тебе же нравится?

— А я больше красные люблю!

— Давай здесь останемся. С битыми надежней...

Переехали в Лондон. Вин здесь не делают. Год можно разбить на месячник Бургундии, месячник Кьянти, месячник Риохи. Утонуть в Бургундии, выплыть в Шампани. Никакого местного шантажа. Вроде в Лондоне живешь, но не совсем. В Бордо только и пьют бордо. Провинциалы. Одно плохо в Лондоне: пить нужно дома. Лондонский воздух сделан из крылышек мух. На воздухе вино тотчас теряет и колер, и запах. Поэтому надо запереться, опустить шторы, отключить телефон и уж тогда откупоривать. Есть ли на свете кто-нибудь счастливой преступницы, пирующей под носом у Скотланд-Ярда? Распознать таких преступников не сложно: осторожная поступь, туго натянутая кожа от уголка глаза до виска, на лбу печать НЕ КАНТОВАТЬ, пупок в красном иле. Внутри у них все переливается, как в ампуле. А снаружи сухие-сухие.

Лиана всегда относилась ко мне бережно. Какой же кайф, если муж орет или, как в моем случае, мрачнеет. Ее уловки были трогательны, наивны. Бокалы прятала по углам, на книжных полках, за кофеваркой, в камине. Все делала умно, со вкусом. Полку облюбовала, где стоял четырехтомник Лермонтова в бордовом переплете. Кофеварка вечно харкала, чихала, и бокал казался только что выплунутым, еще горячим. В камине он застывал на полене, как смола. Даже когда прятала в панике, заслышав мои шаги, все равно получалось остроумно: в вазе, в цветочном горшке. Ваза становилась матрешкой. У цветка кружилась голова, он клонился долу. Ночью из всех углов доносились всхлипы. Бродя по ночному дому, я внюхивался в пустые бокалы. Они были полны воспоминаниями. По запаху различал заносчивую риоху баха, робкую риоху алавесе. Мне нравилась робкая. Она позволяла дочувствовать, допридумать. Авторитарные вина тебя в грош не ставят. Пикнуть не дают.

Патрик просочился в нашу лондонскую жизнь сам собой. По субботам и воскресеньям он подрабатывал по соседству в

винной лавке "Бодега". Это не была фальшивая дружба с человеком из народа. Патрик был испанист, учился в Кэмбридже, стажировался в Саламанке. Лавку "Бодега" он любил. О вине говорил хрипло, сыро, как из погреба. По воскресеньям он запирает лавку в два часа. Захватив дюжину бутылок, приходил к нам. Бутылки были откупорены, вина початы — накануне их дегустировал хозяин лавки. Лина застилала стол белой скатертью. Они усаживались торжественные, серьезные. Я завязывал им глаза шелковыми платками, завязывал крепко, чтоб все было по-честному. Наливал в бокалы на самое донышко. Лине — одно вино, Патрику — другое. Начинала дама.

— Винья Реал, — говорила она тихо и внятно. — 1982.

Очередь была за Патриком. Он всегда волновался, и это было трогательно.

— Карта де Плата, — его голос дрожал. — 1983.

Лина никогда не ошибалась. Нюх у нее был абсолютный. Патрик иногда путал: 78-ой и 82-ой у него смещались и менялись местами. Если путал, краснел, начинал заикаться. Поединки проходили чинно, затягивались за полночь. В одно ненастное воскресенье Лина сорвала платок с глаз и плеснула вино Патрику в лицо.

— Плут! Бастард! Смешал, мошенник!

Пощечина получилась звонкой, только красные брызги разлетелись во все стороны. Патрик ушел и больше ни в "Бодега", ни у нас не появлялся.

В Лондоне мы жили хорошо. Я подрабатывал на радиостанции "Изгнание", пописывал в английские газеты. Прокатив корреспонденцию на радио, отсылал ее же в эмигрантские газеты на разных континентах. Так что за один и тот же материал загребал сто с лишним фунтов. Десяток корреспонденций в месяц — и ты уже романтик. Это бедные люди корыстны: каждую копейку считают. А чуть побогаче — и сразу мот, артист. Но Лина не прижилась и в Лондоне.

— Не хочу в четырех стенах. Хочу на воздухе. Вино на воздухе вкуснее. А здесь оно с мухами.

Сперва говорила туманно:

— Хочу, где много стекла. И чтоб воздух был заплаканный и чуть-чуть протухший.

Должно быть, сразу знала, куда поедет. Выбрала хитро:

Галисию — огромную застекленную веранду с видом на океан; где-то внизу шумят волны, а вино беззвучно струится в бокалы.

Поселились в Сантьяго-де-Компостела, центре винокуренной промышленности. Квартиру в Лондоне сдали, а плату за нее получали в местном филиале "Барклай". На фунты в Испании жить можно. Чем влюбленней, тем башковитей. Все считаешь, продумаешь — лишь бы свое получить. В Сантьяго даже балконы застекленные. А окна смазанные, по стенам текут. Фрамуги зеленые. Стены из моха. Дети из соплей. То тебя атлантической пудрой обдаст, то осьминогом глаз залепит. Ветер тоже надтреснутый: запах изо рта тотчас уносит. Жизнь насквозь проточная. Опрокинул в баре стаканчик минеральной, забежал в кафельную уборную, там тоже все течет, журчит. Прибежал домой.

— А ну-ка, марш бутылки сдавать!

В кошельке стеклярус, бусы. В пещере ящики для тары и лица хрупкие, битые. От орухо, от рибейро. А что еще делать, если живешь бок о бок с морскими гадами и тварями? Да кто в такую камень бросит?

В Сантьяго Лина тоже нашла себе друга, сумасшедшего украинца Ореста. Первым познакомился с ним я — в лечебнице. Но подружился он с Линой. Больше всего Орест любил играть. Приезжал к нам на своем "джипе", парубок моторный, и говорил:

— Сёгодня йидемо в ...Моршин.

Или:

— ...Самбор.

Или:

— ...Станислав.

А мы должны были угадать, какой он город имеет в виду: Грове, Корунья, Понтеведра. Работал он, по его словам, коммерсантом. Продавал оранжевые баллоны с газом "пропано". Баллоны были пузатые, с двумя ручками — вроде амфор. Галисию Орест знал от гребенки до ног. В Моршине закусывали лангустами, в Самборе мидиями, в Станиславе моллюсками. Иногда мчались из города в город, потому что по условиям орестовой игры закусывать в пути не полагалось. Пиво "Эстрелла Галисия", местное вино, которое подают в белых пиалах, пятидесятиградусное орухо Орест называл "смачна горилка". В

барах начинали они всегда с орухо, потому что иностранца, который это слово знает, местные уважают. Лина с дьявольской скоростью выучила галисийский, и я за ней не поспевал. Я знал, как по-галисийски "выпить", а она уже знала и "поддать", и "заложить". Так что когда в забегаловке она заказывала, я только ушами хлопал: где уж там перехватить заказ.

— Куды пойдьмо? ...До Яремчи!

За мраморными столиками мужчины играли в карты. Их азарт смягчала зеленая скатерть. С такими ржавыми морщинистыми шеями можно было позволить себе быть грубым. Жест, удар, покрякивание подтверждали принадлежность к жизни. Лина, дама черва, подсаживалась к ним. Сквозь пинии просвечивались ее глаза. Рио Миньи. Рио Тамбре. Рио Улья. Рио Лина, винная река, бутылочные берега. Мне ли не? Если идешь в тысячный раз по улице или в квартире своей сидишь, то ты просто мертвец. Даже не мертвец, а просто никто. Глазам нечему удивляться, нос не крутит собой. А вот когда ешь, то и зубы и язык и шея прямо танцуют. И ты уже не невидимка. Представляю, если еще пьешь. То по языку ударит, то погладит, то прошуршит. И ты уже не Лина, а винопровод, винная мельница. Руками машешь, ноздрями порхаешь. А слова догоняют мысль, опережают, взывают, и голова твоя — Орли. Нет такого человека, как ты. Легкого, стремительного, шипучего. Ты больше не анонимка. Почему новоявленные обжорство грехом объявили? Да потому что невидимку легче завербовать, забить ему башку. А у обжоры никаких пустот. К нему не подселишься. Он в наем ничего не сдаст: сам повсюду разлегся.

Говорю про риоху:

— В жаруходишь в рубаше. Недельку. В байковой. Возле автобазы. Потом окунешь ее в ведро с виноградным соком. Оставишь на недельку. После выжмешь, так чтоб пальцы побелели. Вот тебе и риоха.

Не отвечает. Роет свое бедро ногтями, потом моими. Как будто там клад с бутылками. Под ногтями у нее краснозем. Докопалась-таки. Дорылась. Наворожила мне шорох и шелест, а вышел звон и звяк. Хлипкий воздух Галисии, груды невымытых городов, провинциальных бокалов. Вышло лучше, чем обещала. Куда ни зайдешь — полки заставлены бутылками. Горлышки что корешки. Белые, зеленые, красные, бордовые, черные. К себе попал. Ножки у бокалов тонкие, как у Лины. С каж-

дым годом все тоньше. Губы должны прикасаться к теплomu, живому. Они для того и вылеплены. Не для того же, чтоб на горячее дуть?! А когда прикасаешься, чувствуешь свое тело, во всем объеме, с подмышками и пазами. И значит — живешь. Вот молодые люди идут по улице. Им страшно. У них за душой ничего, кроме тела. Они и ищут губами подтверждения, ежеминутно. И находят. А найдя, радуются. Это не от наглости, а от ужаса. Я не подросток, но мне тоже страшно. Я подождать могу. Мне не нужно каждую минуту. Пусть раз в день. Раз в трое суток. Но она мои на виноградные променяла. И права, права: виноградные мясистей, синюшней.

Приезжали посреди зимы в курортную глушь, Грове или Марин. Высаживались десанниками. Даже собаки оживали. От нас веяло иностранщиной. Для местных это был запах жизни. Перед обедом ходили на рыбный рынок: подышать, поразмыслить.

Над мраморными прилавками раскачивались, как часы, круглые весы. От страха хотелось сравнивать: раков с красными перчатками, осьминогов с кранами в роскошных гостиницах "Парадор". Заходили в закусочную. Лина не курила: экономила себя ради высших целей. Грове купался в алеманнском пиве "Полл-Дамм". Орест и Лина плавали наперегонки. Вылезали на берег губошлепами, лиловой моря. Лина была куда красивей Ореста. Но ни она, ни он этого не замечали. Утром хлебали галисийский суп со щавелем и такими веселыми становились, с каждой ложкой все веселей. Еду брали чем поживее. "Полл-Дамм" был двух сортов: один светлый — из вельвета, другой темный — из бархата. Начинали с вельветового, к вечеру переходили на бархат. Заканчивали бурно, смешивая пены на берегу Бухты Склянок. В Яремче было по-курортному противно, а в Понтеведра замечательно. Там жизнь жила своей жизнью, не паразитировала. Мы были в Понтеведра на ее задворках. А полудохлый Грове выталкивал нас на авансцену. Никакой другой жизни, кроме интимной, нет. В Грове не давали даже в уборную интимно сходить. За плевков штрафовали или аплодировали.

Не нравятся мне курортные городки. Они тянутся к морю гипертрофированными сосками, пляшут от берега. Баскетболист красив только в прыжке к корзине. На улице он нелеп.

Неприморский город Понтеведра полагается сам на себя, потому и ты на него можешь положиться. В Галисии я перестал писать для газет. В ней ничего не происходило. Она сама была событием, не представлявшим интереса для моих эмигрантских кормушек. Ни андалузских псов, ни баскских собак, ни каталонских контрабандистов. Разве что бутылочные дула в паутине, стекольщики в беретах подшофе, рвущиеся с плеч дождевики.

Лине нравилось, как венчаются в Понтеведра. Она купила фату с флердоранжем и по субботам в полдень спускалась по лестнице церкви Санта Мария под руку с Орестом. Мне доверяли фотоаппарат. Их путали с настоящими женихом и невестой, забрасывали гвоздиками и розами. Лина была счастлива. Посылала меня за шампанским, и мы топили цветы, как щенков, в "кастелбланш". Была на подходе Страстная неделя, Семана Санта, и ее уже репетировали. Сколачивали кресты, затачивали гвозди, освежали струйки. Балахоны шествовали вразброд, понарошку, их толстые свечи еще не казались дубинками. Но опытный нос чуял: у города из рта попахивает серой. Я уговаривал Лину на время уехать, но она решила иначе.

Счастье — это смесь счастья и тоски. Ты счастлив, но с оглядкой. Жизнь твоя тоже, даже если в охотку живешь, не утрачивает самой дальней проекции. Тебе тоскливо, но так остро, что сродни счастью. Есть примитивные вещи. Их понимаешь, когда смотришь в баре, как режется "Барселона" с "Реалом". Сюжет — это цель. Результат — достижение цели. Читая роман, бегая по полю, сидя на трибуне, отодвигаешь конечную, ледяную цель и радуешься сегодняшней. За нее, сегодняшнюю, кладут руки и ноги, и голову. А кто и что положил за веру? Нет, пусть верующие попотеют сперва, башкой поработают, хоть мизинцем рискнут. А иначе их мудрость коту под хвост. Мое время истекает? Так пусть всевышний прибавит мне минуту за то, что я корчился в штрафной площадке с разбитой коленной чашечкой!

Шествие началось около девяти вечера возле церкви Санта Мария. Это был настоящий парад: капюшоны, колпаки, мантии, фиолетовые, белые, черные, барабаны, волынки, трубы, младенцы, отроки, мужи. Их напутствовал всклокоченный ре-

жиссер (мы его прозвали Яша Якобсон). Он пыхтел, краснел, свитер на нем взмок. Ему внимали сквозь прорези для глаз и то замедляли, то ускоряли шаг. На платформах, покрытых атласными попонами, везли святых. Роль моторов играли дети. Под попонами их не было видно. Но было легко вообразить их пунцовые напряженные лица. Полиция дежурила с полудня. Полицейские тоже казались участниками маскарада. Колонна шла медленно, и, проскользнув напрямиком через переулки, можно было сызнова встретить ее неподалеку от церкви Сан-Франциско. Так и сделали. Ждали на узкой улице. Процессия шла ритмично, шагом командора. В самой скорости, в ее отсутствии, было назидание, урок. И этот урок надо было сорвать. Лина преградила им путь первой, рядом встал Орест. Ничего такого они не делали. Крутили пальцем у виска, лепили дули — каждый по четыре, вместе восемь. Потом пошли колесом, на руках, вприсядку. Я попытался все превратить в шутку, оттащить на тротуар. Какое там! Расшалились, как дети. Вот кому было весело. Наконец, куклуксклановцы рассвирепели, и полиция под знаком креста скрутила дебоширов. Нас отвезли в участок. Ореста оштрафовали, а меня с Линой вышвырнули из Испании.

В Лондон мы приехали бездомными: по условиям контракта жильцов полагалось предупредить за месяц до возвращения. Сняли "койку да завтрак" и смотрели из окна грязного пансиона на свой дом. Лина впала в дремучую депрессию.

В этой лечебнице я впервые. Она смахивает на гостиницу: ни халатов, ни пижам. Все мягко, плюшево, без цемента. Обращаются по именам. Твой врач не доктор и не господин, а Джеймс. И ты не пациент, а постоялец. Одно мне не по душе. Здесь больше наркоманов. А это другая компания, мне совсем чужая: эгоисты. Курс такой: пишешь исповедь и читаешь ее вслух. Потом разом обсуждают. Никто никого не обижает. В дураках только я. Другие в графоманском упоении. Пишут и читают с восторгом, ждут восторженной реакции. И получают. Слово "гениально" не сходит с уст. Я здесь единственный, для кого работа со словами — профессия. Пусть не писатель, а журналист, но все равно со словами не умею обращаться наивно. У других проблем жанра, выбора слов нет и в помине. Но, кажется, я нашел выход. Мне разрешили писать по-галисийски.

Теперь все муки сместятся в область грамматики и орфографии. Времена разбегаются, конструкции крелятся, светофоры шалеют: где запятая? где тире? где точка? Когда почва уходит из-под ног, до жанра ли?

Лина звонит ежедневно, приходит через день. Тоже мягко, с пониманием. Когда уходит, я дрожу от бессилия. Я-то знаю: в женской уборной где-то на бачке вырос тонконогий бокал, ну, не бокал, так рюмочка. Ну, не на бачке вырос, так в бачке плавает. Вот только зайти в женскую уборную даже ночью не решаюсь. Нет, хитрость человека не красит.

Игорь Померанцев

АЛЬБЫ И СЕРЕНАДЫ

рассказы и повести

RR
PRESS

50 фр.-франков с пересылкой
заказы по адресу:
RR-Press LTD
8A Rochester Terrace
London NW1 9JN

И. Меттер

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

В нашем поселке, на пыльной площади у Дома культуры, 1-го мая происходит демонстрация.

Обряд, по которому первомайские демонстрации устраиваются в больших городах, в точности блюдется и в нашем поселке.

Сколачивается трибуна точно такая же по форме, как и в столицах. Она состоит из трех отделений, из трех, что ли, отсеков — центрального, несколько выдающегося вперед и вверх, и двух крыльев пониже, правого и левого. Размеры всего этого сооружения настолько невелики, что оно похоже на три неуклюжих больших ящика, приставленных друг к другу.

В центральном ящике стоит во время демонстрации руководство поселка, оно как бы изображает поселковое правительство, а в двух ящиках справа и слева от него группируются знатные люди поселка. Всего в трех этих ящиках человек двадцать. Роли и места распределяются загодя чрезвычайно серьезно — имеет большое значение, кто куда попал: в центр или в крыло. Самое же важное — кто именно будет произносить, то есть читать вступительную речь, а кто именно будет выкрикивать первомайские призывы в ходе демонстрации.

На борту центрального ящика установлен микрофон, хотя особой нужды в нем нет: расстояние от трибун до проходящих мимо них людей не более двух-трех локтей — можно поздороваться с правительством за руку.

Из деревянного здания милиции — оно расположено метрах в тридцати — выходит почти весь наличный состав в парад-

ной форме, человек шесть-семь, они устанавливаются напротив и рядом с трибунами, это должно изображать оцепление.

Демонстранты накапливаются неподалеку, за домами. Соблюдается строгая очередность прохода мимо трибун. Подается команда в микрофон — кричит чаще всего библиотекарша, секретарь парткома сельсовета:

— На площадь выходят герои труда!

Из-за дома выходят два старика: аптекарь и зверовод, им лет по семьдесят, у них красные банты на груди. Идут они немножко смущаясь, уж очень их мало, хотя, в общем, им это нравится, им приятно — один раз в году в течение одной минуты быть на виду.

Библиотекарша продолжает выкрикивать:

— На площадь выходит наша смена!

Ученики младших классов поселковой школы, малыши с флажками, нестройно проходят мимо трибун, а библиотекарша уже кричит им призывы:

— Долой колониализм!

— Свободу Луису Корвалану!

Затем появляется группа людей человек двести — я всех их знаю в лицо — о них тоже проорано в микрофон:

— Идет колонна трудящихся!

Эти поселковые жители работают на единственном в нашем населенном пункте предприятии — фабрике пластмассовых пуговиц и игрушек, штампующихся прессами. Продукция этой фабрики почти тотчас уходит в ларьки уцененных товаров.

Библиотекарша продолжает призывать из своего центрального ящика:

— Да здравствует научно-техническая революция!

В поселке нет канализации, нет в домах водопровода — здесь впору провозглашать цивилизацию, самую рядовую цивилизацию, чтобы жителям зимой в тридцати-сорокаградусные морозы не приходилось выбегать из домов в вонючие гробики-сортiry и присаживаться там орлом.

На уровень колонизации в Африке и освобождение из тюрьмы Луиса Корвалана не могут повлиять ни поселковые малыши, ни даже местный сельсовет. А вот требовать, чтобы старое деревянное здание школы, сгнившее, совершенно непригодное для занятий, было наконец заменено новым — требовать это следовало бы и 1 мая и во все остальные дни года.

●

Не пойму, стариновское ли это, но появилось во мне лишь недавно, в последние годы: острое любопытство к детям, совсем маленьким детям, годовалым и даже меньшим.

Чаще всего это случается на улице: увижу коляску с ребенком около магазина или в скверике, матери подле нет, никого из близких ему нет, ребенок один-одинешенек, не спит, глаза его настежь распахнуты, они живут глубоко сосредоточенной жизнью — не на себе сосредоточенной, а на всем окружающем. Он сознательно поводит ими в разные стороны, следя за происходящим вокруг. Он смотрит и понимает что-то, чего я уже не в силах понять, ибо он видит это впервые, а я уже ослеп от привычки и вижу только выборочно, а он — все подряд.

И лицо его задумчивое, не рассеянное, а думающее, выработывающее некие выводы из своих наблюдений, быстрые разнообразные версии, из которых, вероятно, следует, как ему надо себя повести, если очередная версия подтвердится. Он пока еще чувствует себя чужим здесь, как среди инопланетян, ибо там, откуда он прибыл, где долго-долго жил, всю свою жизнь жил, все было иначе, ближе, уютнее, безопаснее.

Я подхожу к коляске, он вливается в меня, сперва на мгновение настороженно, а затем начинается подробный благожелательный осмотр того, что я собой представляю. Тщание этого осмотра поразительно и совершенно не похоже на ту мимолетность, с которой я оглядываю его. Мне абсолютно достаточно скользящего фиксирующего взгляда: лежит ребенок, похожий на всех младенцев подобного возраста — в общем-то, что-то еще до-человеческое, по правде сказать, пока еще это не мыслящий тростник, пока еще ничем к себе не привлекающий. Можно, конечно, умилиться, вот, дескать, вырастет и т.д. То есть привнести можно эмоции из своего жизненного опыта. Однако надобности, необходимости в этом никакой нет — заглянул мимолетом в коляску и проследовал далее, сиюсекундно забыв об этом.

А для него — явление, огромный мир, который должен быть как можно скорее постигнут; его мозг, силу которого мы и представить себе не можем, ничем лишним не обремененный, обладает неслыханной впитываемостью — впечатления, наблюдения откладываются в его просторной, гулкой памяти,

свободной от всякой житейской шелухи, и потому все, что сейчас в нее загружается, пребывает в аккуратнейшей сохранности на всю жизнь. Стоит лишь внимательно всмотреться в его лицо, и вы увидите невиданную пульсирующую работу все постигающей памяти.

Но почему же именно сейчас меня так остро влекут к себе эти случайные младенцы в попутных колясках?

Единственное объяснение, которое я могу наскрести: во мне кончается жизнь, а она, по сути, бесконечна и потому требует продления уже в иной оболочке — вот я и примериваюсь к тому, что мне предстоит, озирая одновременно и то, чем я был когда-то. Мое прошлое и мое будущее — в этих колясках.

Не потому ли любовь бабок и дедов к внучатам так безоглядна и так отчаянно безрассудна? Быть может, запрограммирован в людях инстинкт переселения души. Разумеется, это свойство не всеобщее — у кого-то есть, а у кого-то нету.

И слава Богу, что не у всех. Жутко представить себе, что любая подлая душа может бесконечно переселяться из рода в род.



Я иногда готов взвыть от воспоминаний о том, чему был молчаливым свидетелем. И только ли свидетелем — участником!

Году в 1950-м нас, человек двести литераторов, собрали в большом зале ленинградского Дома писателей. Секретарь Союза Александр Григорьевич Дементьев, взойдя на трибуну, торжественно сообщил нам, что примерно минут через двадцать в Москве по радио выступит Иосиф Виссарионович Сталин и мы будем иметь счастливую возможность коллективно прослушать эту речь в нашем зале.

Затем на сцену вынесли тяжелый большой радиоприемник — в те давние годы они были громоздкими. Мы сидели молча, а на маленькой нашей сцене долго устанавливали этот сундук. Его взгромоздили на низкий стол по самой середине пустой сцены.

В ярко освещенном зале бывшего графского дворца, с прекрасной лепниной на просторном потолке, с огромными, во всю стену, окнами, занавешенными светлыми шелковыми волнами, сидели двести писателей, то есть человек сто совершенно

интеллигентных людей, и в благоговейно-церковном молчании смотрели на нелепый голый сундук радиоприемника.

А он, сундук, наблюдал нас, заворазивающе наблюдал, ибо каждый из нас уже наделял его грозным могуществом.

Так, в молчании, продолжалось минут десять.

Затем Дементьев, все время нервно поглядывающий на свои часы, приблизился к приемнику, включил его и стал настраивать, повернувшись к залу полуспиной-полубоком. Что-то у Дементьева не ладилось, да и приемники того времени были не Бог весть какие — по залу разносился лишь треск и грохот.

Писатели тревожно сверялись и по своим часам, уже грянула та минута, когда должен был зазвучать заветный голос вождя, а приемник продолжал простодушно барахлить, не осознавая своего значения.

В помощь Дементьеву выскочил на сцену киномеханик, вдвоем они вертели регуляторы и, наконец, добились того, что сквозь гул вселенной стал обрывками доноситься голос Сталина. Сделать его внятным не получалось.

Дементьев на цыпочках отошел в сторону и застыл лицом к залу. Киномеханик слинял за кулисы.

Я сидел ряду в десятом. До меня доскакивали лишь отдельные слова, не складывающиеся ни в какой смысл. В подобном же положении находились все двести писателей, заполнявшие зал. Нам было известно, что Сталин выступает перед своими избирателями. Однако речь его была настолько искажена помехами тогдашней техники, что ни одна цельная фраза не добиралась до нас. Из этого сундука на сцене дребезжала какая-то невнятица. И она все усиливалась.

Время от времени я исподволь поглядывал по сторонам. Осторожно поглядывал. Лица присутствующих были молитвенно соредоточенными. Ни один лицевой мускул не рисковал расслабиться, ибо из коры головного мозга был послан категорический приказ — стоять насмерть. И лицо стояло, как часовой у знамени.

Так длилось с полчаса.

Но внезапно беспокойное звучание всей этой невнятицы прекратилось — из приемника хлынул в наш зал шквал аплодисментов. Он сорвал нас из кресел, мы вскочили на ноги и бурно зааплодировали.

Наконец-то, наши действия обрели привычный смысл, освоенный, правда, тем, что никто из нас не представлял себе, в какое мгновение можно прекратить аплодисменты: обычно сигналом служит поведение президиума, но здесь сцена была пуста, на ней торчал лишь этот голый сундук, звуки его были окончательно погребены под грохотом наших восторгов.

А Дементьев, одиноко стоявший в углу сцены, конечно же, не мог взять на себя огромную политическую ответственность — первым оборвать свой руководящий аплодисмент.

Мы здорово устали в тот вечер. Физически устали.



Нигде я не чувствую себя таким евреем, как на еврейском кладбище.

Я прихожу сюда раз в год на могилу родителей. Они лежат рядом, похороненные более четверти века назад. Мать пережила отца на полгода, могила узка для двоих, в ограде не удалось поставить скамейку.

Мои приходы на кладбище ни к чему не приурочены. Никаких дат я не помню. мои родители никогда не праздновали дней своего рождения, а даты их смерти я кощунственно путаю.

Разумеется, и у евреев есть дни поминовения мертвых, но я их никогда не знал. Моя мать давно обрусела, и только в недрах ее, как лава в земном ядре, колышутся воспоминания моей "этнической группы".

Ритуал посещения еврейского кладбища мне смутно известен. Где-то здесь при кладбищенской синагоге существует "Хевре кадышим" — "Погребальное братство". Членов этого братства можно нанять для исполнения необходимого религиозного обряда.

По обряду сын произносит на отцовской могиле поминательную молитву "Кадиш". Ни слов, ни смысла ее я не знаю, но ритм и трагическое звучание "Кадиша" знакомы мне с детства: ее положено произносить напевно, со все возрастающим колдовским завыванием. В нынешнее время уже редко встретишь сыновей, знающих эту молитву — "Погребальное братство" предлагает им свои услуги.

Стоя у могильного холма, нанятый человек исполняет пе-

чальную роль осиротевшего сына: от его имени он обращается к Иегове, но никому неизвестно, доходят ли эти платные слова до Иеговы, угодны ли они ему.

Мой отец верил в Бога буднично, по-домашнему, вера его с годами угасала, не получая подтверждения в поступках человечества. К кладбищенской артели "Хевре кадышим" отец относился иронически, он называл ее "Хевре гановим" — "Воровским братством": алчность подобных артелей повсеместна для всех вероисповеданий.

Хоронили отца, когда еще была жива мать, в живых были старики дядья и тетки — ради них мы соблюдали положенный обряд погребения. Да и не только ради них: нам, пожилым детям, немоготу было немое расставание с отцом, таинство смерти требовало исхода в словах, и чем загадочнее слова, думали мы, тем лучше. Непонятна смерть — непонятен и язык общения с ней.

В тот день с утра лил долгий осенний дождь.

В кладбищенской синагоге было натоптано, полы здесь не мылись давно, пустые стены обшарпаны, голая электрическая лампочка висела над открытым гробом, он стоял на длинном столе с оцинкованной столешницей.

В гробу лежал отец, одетый в белый саван поверх костюма. От савана в нескольких местах свисали из гроба белые завязки, и хмурый молодой еврей с портфелем — ему мы заказывали погребальный обряд — шепотом объяснил нам, что мы должны встать по обе стороны гроба, взявши в правую руку по завязке.

Прежде чем начать отпевание, этот еврей, предвидя нашу безграмотность, вынул из своего портфеля квадратик белого картона, на котором чернилами русскими печатными буквами были записаны древнееврейские слова похоронной молитвы.

— Вы можете повторять это вслед за мной, когда я начну, — сказал он, протягивая нам картонку. И добавил: — Необязательно вслух, можно и про себя.

Он отошел шага на два в сторону, вынул из портфеля полосатый шелковый талес — покрывало — и ермолку. Кто-то из его собратьев подал ему черный пиджак. Сняв с себя поношенную голубую нейлоновую куртку, молодой кантор — я вспомнил его синагогальную должность — надел черный пиджак, накинул на свои плечи талес и сменил свою кепку на ермолку.

Встав в изголовье открытого гроба, кантор пропел прощальную молитву.

В этом коротком и торопливом обряде, в неумелом и, как мне показалось, фальшивом пении чужого, не омраченного горем человека не было благолепия. Оно и не могло возникнуть в этом пустом, неопрятном зале кладбищенской синагоги — здесь было, как на вокзале: отсюда души умерших отправлялись по неизведанному маршруту — Земля и далее везде.

Я любил отца, стоял сейчас у его гроба, держа в ладони завязку от его савана, но не мог сосредоточиться на моем горе — соучастие посторонних мешало мне. Да и не только это: боль утраты всегда настигала меня в неположенное для нее время, в неотведенное для нее место. Она возникала внезапно, когда и где попало, но только не там, где ей следовало возникнуть.

Я виноват.

Я не успел сказать отцу и матери того, что испытываю к ним сейчас. Черствость юности поразительна. Затем, в зрелые годы, приходит чувство сыновьего долга. Подлинная, горестная любовь к родителям рождается посмертно, вдогонку.

И сейчас снова, как тогда, в день похорон, приходя на кладбище и стоя у их могилы, мне никак не сосредоточиться на том, что их нет. Я уже ничего не могу сделать для них, рассказать им — загробность связи с ними чужда мне. И менее всего здесь оживает моя память о них.

Я брожу по еврейскому кладбищу среди чужих надгробий. Фамилии и даты — вот все, что я знаю об этих людях. Но почему же оказывается, что это так значительно для меня? Общность с ними встает из-под земли. Я сопротивляюсь ей, но мне не одолеть ее. В каких же глубинах моей души погребена эта общность. Я знал евреев-кретинов, евреев-подлецов — моя совесть корчилась от стыда за них. Я знал гениальных евреев, героев и мучеников — я не унижался до того, чтобы гордиться ими.

Эти мысли не преследуют меня в обычной жизни. Я пишу на русском языке, думаю по-русски, живу судьбой народа моей страны — ни одно горе его и ни одна радость его не обошли меня стороной. Но я — еврей, моя душа двустрадальна, и здесь, на еврейском кладбище, окруженный душами покойников, я, живой, вплетаюсь в один узел с ними.

Л. Петрушевская

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

Стоит ЖЕНЩИНА, у ее ног детские игрушки. Входит ДЕВУШКА с игрушками, сваливает их на пол.

ДЕВУШКА. Вот вам еще игрушки. Я сама их выбирала.

ЖЕНЩИНА молчит.

Это вашему ребеночку. У вас кто, девочка или мальчик? Я купила и кукол, и машины. Посуду, солдатиков. Бывает, что мальчики играют в кукол.

ЖЕНЩИНА молчит.

У вас сколько ему лет? Или ей? Я купила и для большого мальчика конструктор с реле времени. И для большой девочки набор для вышивания и швейную машинку. Можно шить тамбурным швом. И велосипед для них обоих.

ЖЕНЩИНА молчит.

Вы можете отдохнуть, садитесь, есть стул. Вы устали. Я понимаю. О, давайте я погуляю с вашей собачкой. Какая интересная! У нее что на голове?

ЖЕНЩИНА. Это не собака.

ДЕВУШКА. Правда? Это кошка. А что у нее на голове? Можно, я ее поглажу?

ЖЕНЩИНА. Это не кошка.

ДЕВУШКА. Я подумала только. А что это у него на голове?

Какая интересная зверюшка. Можно, я пойду с ним погуляю? Как оно называется?

ЖЕНЩИНА. Это неважно.

ДЕВУШКА. У меня есть веревка, я его не упущу. Сделаем такую сбрую на груди, я его поведу. Я никогда еще не гуляла с таким чудом.

ЖЕНЩИНА. Не надо.

ДЕВУШКА. Оно же должно гадить. Его надо вывести, а то придется убирать с полу.

ЖЕНЩИНА. Ничего.

ДЕВУШКА. Вам придется самой, я вас только встречаю. Дальше вам все придется самой. Еды я вам принесла, купила кастрюли и посуду для малыша. Манная крупа, гречка, консервы.

ЖЕНЩИНА. Спасибо.

ДЕВУШКА. А зачем оно так делает? А что это у него на голове? Как череп. А когда приедет ваш ребенок?

ЖЕНЩИНА. Не знаю.

ДЕВУШКА. Там для него кровать на случай, если он маленький, и раскладной диван на случай, если большой. Диван раскладывается в длину до двух метров. Ой, что это оно делает? Господи.

ЖЕНЩИНА. Зевает, по-моему.

ДЕВУШКА. Никто ведь не знал, в каком году вы родили. Пять, три года назад или самое большое пятнадцать.

ЖЕНЩИНА. Плачет, по-моему.

ДЕВУШКА. Надо же, как много. Убирать придется.

ЖЕНЩИНА. Платочком вытереть слезы.

ДЕВУШКА. Как же оно называется? Это там такие водятся? Оно взрослое?

ЖЕНЩИНА. Нет, по-моему.

ДЕВУШКА. Ну, в таком случае, какое же оно вырастет? Господи, что это у него на голове?

ЖЕНЩИНА. Как у всех, череп.

ДЕВУШКА. У всех череп спрятан под мясом, понимаете? Почему оно улыбается?

ЖЕНЩИНА. Спит, а не улыбается.

ДЕВУШКА. Глаза-то открыты. Зубы улыбаются.

ЖЕНЩИНА. Во сне.

(начинает петь колыбельную).

- ДЕВУШКА. Вы понимаете, что происходит? Почему у него такая шея?
- ЖЕНЩИНА. Мы много перенесли.
- ДЕВУШКА. Но не до такой степени. Я просто не понимаю. Целый ряд позвонков.
- ЖЕНЩИНА. Голову-то надо поворачивать, одним позвонком не обойдешься.
- ДЕВУШКА. Это-то я понимаю. А где ваш ребенок?
- ЖЕНЩИНА. Это он.
- ДЕВУШКА. Как его зовут?
- ЖЕНЩИНА. Валя.
- ДЕВУШКА. Какого он рода?
- ЖЕНЩИНА. Это девочка.
- ДЕВУШКА. Значит, игрушки ей подойдут. Куклы, швейная машина. Может, поиграет в машинки. До какого состояния ребенка довели. Ей сколько?
- ЖЕНЩИНА. Шесть.
- ДЕВУШКА. Месяцев?
- ЖЕНЩИНА. Лет.
- ДЕВУШКА. Значит, будет спать на диванчике. Шесть лет назад... Это от кого?
- ЖЕНЩИНА. Вы ее не знаете.
- ДЕВУШКА. Имя, фамилия, отчество есть. Я же должна записать.
- ЖЕНЩИНА. Что это, я же вышла на свободу.
- ДЕВУШКА. Да, вы на свободе. Но я ведь должна оформить документы. Все с нетерпением ждали, кто у вас, мальчик, девочка, сколько лет.
- ЖЕНЩИНА. Валентина, Валентиновна Валентинова, шесть лет.
- ДЕВУШКА. Я запишу (*записывает*). Имя, отчество, фамилия отца.
- ЖЕНЩИНА. Валентин Валентинович Валентинов.
- ДЕВУШКА. Как же вы умудрились... Вы же сидели в одиночке. Это был охранник?
- ЖЕНЩИНА. Я же на свободе, вы понимаете?
- ДЕВУШКА. Но тут есть пункт: где работает отец.
- ЖЕНЩИНА. Он не работает.
- ДЕВУШКА. Он был тоже заключенный?
- ЖЕНЩИНА. Я его не знаю.
- ДЕВУШКА. Случайная связь?

ЖЕНЩИНА. Я не знаю.

ДЕВУШКА. Изнасилование? Вы скажите, я буду знать как писать в документах ребенка. Если это изнасилование, то будет не Валентиновна и не Валентинова. Будет Ивановна Иванова.

ЖЕНЩИНА. Я уже сказала, как зовут. Мне больше нечего сказать.

ДЕВУШКА. Имейте в виду, девочка на всю жизнь будет Ивановна Иванова. Ей пятно на всю жизнь.

ЖЕНЩИНА. Она Валентиновна Валентинова.

ДЕВУШКА. Кто такой Валентин Валентинов? Докажите.

ЖЕНЩИНА. Так ее зовут.

ДЕВУШКА. Вы придумали. Зачем скрывать, вы же на свободе.

ЖЕНЩИНА. А зачем спрашивать?

ДЕВУШКА. Вы же на свободе. Это документы.

ЖЕНЩИНА. Нам не нужны документы.

ДЕВУШКА. А без документов опять посадят, чтобы оформить документы.

ЖЕНЩИНА. Он ведь не ребенок. Я его привезла как экспонат. У него кличка Жучка.

ДЕВУШКА. Тогда вам не полагается двухкомнатная квартира. Откуда взялось, что вы едете с ребенком? Все с нетерпением ждали.

ЖЕНЩИНА. Какой ребенок, вы что?

ДЕВУШКА. Куда вы его дели?

ЖЕНЩИНА. У меня не было. Откуда? Я 16 лет просидела в одиночке.

ДЕВУШКА. От вас доносился детский плач.

ЖЕНЩИНА. Мало ли.

ДЕВУШКА. К вам было не разрешено входить все шестнадцать лет. И от вас время от времени доносился детский плач.

ЖЕНЩИНА. Это случайность.

ДЕВУШКА. Вы ведь знаете, что за убийство ребенка полагается шестнадцать лет одиночки. На своем опыте убедились.

ЖЕНЩИНА. Опять двадцать пять!

КОНЕЦ

7 мая 1980 г.

Петр Вайль и Александр Генис

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

I

ПРИНЦИП МАТРЕШКИ

Проза новой волны

Что такое литература эпохи гласности?

К счастью, ответить на этот вопрос сложно. К счастью — потому, что в предыдущий период ответ на вопрос — что такое современная литература? — сводился бы к известному набору имен: Искандер, несколько деревенщиков, Битов, Маканин. Общая тенденция, стилевое направление не вычленились. Не вычлениется и сейчас, но уже по иной причине. Если прежде об общем характере печатной литературы говорить не имело смысла, то теперь нет возможности.

Разумеется, монолитом советская литература не была никогда — тем не менее, оставляла впечатление чего-то серого и малоподвижного. Казалось, что все интересное и живое ушло на Запад — и на Западе вышло. Теперь стало ясно, что застой существовал лишь на поверхности, что воображаемый монолит, легко и охотно раскололся на множество частей, и литература в Советском Союзе приобрела сложность и противоречивость — условия, необходимые для нормального развития культуры.

Из цикла "Портреты".

При этом наиболее популярной тенденцией современной литературы, как и прежде, остается социальное направление. Даже те критики, в чьих устах имена Белинского и Чернышевского стали едва ли не бранными, превозносят книги Дудинцева и Рыбакова, созданные по канонам российской социально-разоблачительной традиции. Тезис Пушкина о том, что поэзия выше нравственности, всегда имел в русском сознании оттенок курьеза, гротеска, шалости гения. Такое могло позволяться Пушкину — да и то в виде замечания на полях, потому что по-настоящему Пушкин написал свое имя все же на обломках самовластья.

Разоблачители возглавили передовой отряд современной прозы, и нет оснований предполагать, что положение может измениться в обозримом будущем. Литературе социального пафоса обеспечена долгая популярность. Правда, хотя идеологический знак тут поменялся на обратный, художественная система сохранилась практически нетронутой. Но чисто эстетический подход к литературе всегда был и будет уделом меньшинства. Весь вопрос в том — останется ли это меньшинство. Точнее, останется ли для него бумага, типографская краска, место в журналах и издательствах. Впрочем, те литературные явления в России, которые рассматривали себя исключительно как литературу, никогда и не претендовали на большее.

Сейчас такой минимум бумаги, краски и места начинает предоставляться направлению, условно говоря, эстетическому. Возможно, это и есть наиболее важное явление периода гласности: массовый выход на поверхность сугубо "литературной" литературы.

Явление пока не оформлено — ни организационно (что естественно, потому что оно глубоко индивидуалистично), ни стилистически, ни жанрово. Именно поэтому приходится объединять самых различных авторов и самые различные книги лишь по признаку неслужебности их творчества, отсутствию элемента разоблачения или учительства. Это, разумеется, несправедливо, но пока вынужденно. По той же причине невозможно и дать имя направлению — ибо собственно направления еще нет. Воспользуемся многократно употребленным в разных случаях сочетанием "новая волна" — утешая себя тем, что это действительно волна, потому что таких писателей много, и что она в самом деле новая, потому что прежде не выходила на по-

верхность печатной советской литературы. Теперь вышла, выработав скептическое отношение к общественным идеалам и устремлениям не только умозрительно, но часто и на вполне конкретном опыте, потому что ее носители долго занимали социально-пассивные должности сторожей, смотрителей лодочных станций, лифтеров, дворников и т.п. Собственно говоря, отличительной чертой "новой волны" можно считать *скепсис по отношению к самой возможности общественного идеала*.

Проза этого течения представлена самыми разными именами, а поскольку советские издания редко публикуют биографические данные об авторах, то трудно судить даже о возрастном ее составе и писательском стаже. Впервые быть прочитанными могут и 25-, и 50-летние литераторы, и написавшие первые рассказы, и авторы нескольких романов: и те, и другие считаются молодыми, пока не опубликовались. Поэтому приходится ограничиться кругом неизвестных прежде имен, вышедших на страницы в последнее время.

Попробуем выделить основные характеристики прозы "новой волны".

Для нее несущественна среда обитания. Так, у В. Пьецуха действие рассказов может происходить и в деревне, и на сибирском прииске, и в большом городе.

Не имеет решающего значения социальная принадлежность персонажей — это могут быть рабочие, крестьяне, интеллигенты. Существенно другое свойство этой прозы: установка на достоверность авторского персонажа. Наиболее достоверен для автора — он сам. То есть — писатель. Таким образом, важна не социальная, а художественная характеристика: *ведущий персонаж — писатель*.

При этом, поскольку речь идет все же не об автобиографической прозе, а о литературе широкого вымысла — писатель может выступать в самых разных обликах, за которыми все же безошибочно угадывается автор. Автор этого обычно и не скрывает, выдвигая на первый план именно писательские таланты любимого персонажа. Таковы творческий бездельник у В. Пьецуха ("Билет"), влюбленный филолог у М. Попова ("Фильмы 30-х годов"), вдохновенный врун у А. Бычкова ("В следующую раз осторожнее, ребята"), автор безадресных писем у В. Мурзакова ("Здравствуй, Тоня!"), трагическая фантазерка у Л. Петрушевской ("Свой круг"), преобразователь повседневно-

ности у Л. Костюкова ("Эверисты стихийные и сознательные").

Все эти характеристики — суть писательские качества. Все эти герои пишут, повествуют устно или другими путями переделывают мир — но отнюдь не для того, чтобы мир стал лучше, а для того, чтобы приспособить мир к себе. Их авторские — а значит, индивидуалистические — амбиции лежат в сугубо личной сфере, они не вписываются в общество ни в коей мере.

В этом смысле характерна декларация Костюкова с его эверистами (от английского every — каждый) — людьми, стихийно совершающими одновременно одинаковые действия, но обязательно по отдельности, без договоренности, неорганизованно. "Никакая их традиция не жила обычно более одного дня", — пишет автор, откровенно любуясь принципиальной эфемерностью такой массовой поэзии: в разных концах огромного города сотни незнакомых друг с другом эверистов вдруг по наитию засовывают за пояс газету или целуют своих девушек в висок. "Невозможно представить себе роту эверистов, шагающих строем, или шеренгу эверистов на демонстрации, — смакует Костюков. — Акт эвериста всегда индивидуален".

Доморощенный философ Паша Божий — герой Пьецуха — уверен в существовании "загадочной струны, которая постоянно наигрывает такую строптивую, наперекорную мелодию — в народе она называется "только чтобы не как у людей". Это очень могущественная струна, которая во многом определяет музыку нашей жизни. ...Даже когда у нас созреет полное, всеобщее и, может быть, даже неизбежное счастье, то, уверяю вас, проходу не будет от юродивых, непризнанных гениев и возмутительных одиночек". Заметно, как радуется персонаж — он же в данном пассаже автор — такой диссонансной перспективе: "Никто не обязан быть счастливым".

В рассказе Мурзакова "Здравствуй, Тоня!" асоциальность доведена до предела: герой лежит в психбольнице с дыркой в черепе, в которую "железный рубль входит", и не помнит даже собственного имени. Его отчуждение от общества так велико, что он пишет письма неизвестно куда и неизвестно кому. "Мне о многом хочется у тебя спросить, но я пока не знаю, о чем".

Даже из немногочисленных приведенных примеров видно, как персонажи-писатели тяготеют, как и положено писателям, к афористичности письма. Они охотно и много формули-

руют, но на поверку оказывается, что эти на вид мировоззренческие формулы — антиформулы. То есть — они не предназначены для того, чтобы по ним жить. Все это — пародия.

Как известно, пародия не нуждается в пародируемом объекте, будучи явлением самодостаточным. Так и у “новой волны” советской прозы объекта пародии то ли нет вовсе, то ли он безмерно широк (что одно и то же) — сама жизнь.

Основное средство для достижения этой мировоззренческой пародии — *ирония*. “Новая волна” тотально иронична. Это не ново. В первую очередь на память приходит насквозь ироничная молодежная проза 60-х годов. Но между этими явлениями — глубокая и многозначительная разница.

Ирония 60-х стала реакцией на оболганные лозунги. Красивые и хорошие слова опошлили и обесценили плохие люди. Пафос оказался неуместен и стыден. Чтобы вовсе не отказаться от слов, пришлось прибегнуть к ироническому словоизъяснению, за которым при этом скрывались подлинные, сильные и честные эмоции. Персонажи 60-х — литературные и реальные — уговаривали друг друга не говорить красиво, имея в виду при этом, что красота начнется тогда, когда придется пойти друг за друга на пожар, в ночную тайгу или на партсобрание. Иными словами, ирония стала протестом.

После следующего этапа словесного обесценивания многие — в основном, молодежь — и в самом деле отказались от слов вообще, обратившись к рок-культуре, к музыке. Вконец разрушили словесную ткань поэты и писатели-авангардисты, по сути близкие в этом рок-культуре. Апелляция к прямому идеологическому слову — как у тех же Дудинцева и Рыбакова — выглядит анахронизмом, убеждающим лишь таких же анахронистов (которых, тем не менее, хватает и хватит во все времена).

Иным путем стала ирония — но ирония вторичная, рефлексивная, под которой уже ничего, кроме самой иронии, не скрыто, универсальная, подвергающая сомнению все возможные установления, принципы и идеалы. Ирония откровенная и даже декларативная. “Невооруженным взглядом видно, что я, как ни стараюсь, не могу удержаться от иронии (не делающей мне, впрочем, никакой чести)”, — бравирует М. Попов, и не стоит слишком доверять извиняющейся оговорке автора: он

знает, что делает, делает это сознательно и останавливаться не собирается.

Рассказ Пьецуха "Билет" — в известной мере программный и для этого писателя, и для всей волны. Его герой — бич, бродяга, бездельник — изрекает истины о необязательности счастья и, более того, обязательности несчастья, потому что без несчастных "мы будем не мы, как Афродита с руками уже будет не Афродита. Вы спросите, почему? Да потому, что всеобщее благосостояние — это та же самая сахарная болезнь, и организм нации, если он, конечно, здоров, обязательно должен выделять какой-то горестный элемент, который не позволит нации заболеть и ни за что ни про что сойти в могилу".

Паша Божий говорит еще много умного и точного, но нельзя не помнить, с чего начинается рассказ "Билет". Его первые слова: "Бич Паша Божий, которого..." — и так далее. Вставить банального "Пашу" в сакральное словосочетание "Бич Божий" — почти кощунство, и Пьецух легко идет на это, сразу задавая тон и характер повествованию. Паша Божий — вообще-то идеал писателя, но иронический зачин напоминает о принципе матрешки, когда каждый раз результат — не окончателен.

Перед кощунством — на этот раз по отношению к стихам (что в России едва ли не смелее) — не останавливается М. Попов: "Любовная лодка разбилась о быт, ничто не забыто, никто не забыт".

Ироническое отношение к литературе и жизни демонстративно задает с самого начала Петрушевская в рассказе "Свой круг": "Я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще". И то обстоятельство, что дальше действие развивается трагически, — ничего не меняет. Иронический трагизм, трагическая ирония — это не игра слов, одно ни в коем случае не исключает другого, скорее, включает одно в другое. Это принцип множественной, многослойной иронии — в самом деле, матрешечной. И в качестве одного из слоев "новая волна" вводит новое измерение — жалость.

Ирония и жалость — над этим посмеивался еще Хемингуэй. Но в современной советской прозе это понятие обновилось, потому что обнаружился полюс добра, не противоречащий асоциальности. Добро без кулаков. Со-чувствие без тайги и пожара. Жалость — общественно пассивная эмоция, не предполагающая попыток к реализации.

Разрушительная (а она в той или иной мере разрушительна всегда) ирония и уравнивающая жалость — это вычитание-сложение в прозе дало нулевой градус письма. Жизнь трагична потому, что кончается смертью. Все свершается внутри, а остальное — политический строй, социальные связи, быт — лишь производные и частности.

Такое мировоззрение лежит в основе творчества целой плеяды литераторов, появившихся в последнее время. Раньше это называли бы абстрактным гуманизмом. На самом деле сочетание иронии и жалости не гуманистично и не антигуманистично — оно без знака.

Нулевое письмо вызывает некоторое читательское затруднение. Возникает эффект греческого храма, где колонны ставились так, чтобы издали создавалось впечатление единой гладкой поверхности. В прозе нулевого градуса уравнено все: добро и зло, горе и радость, смех и слезы, ненависть и любовь.

Более того, универсально ироническое мировоззрение в литературе, как у романтиков, не знает разницы и между реальным и фантастическим. Потому писатели "новой волны", не задумываясь, прибегают к мистике, загадочности, фантастике. Прозревает будущее потерявший память пациент дурдома ("Здравствуй, Тоня!"). В напряженно ирреальном мире живут "эверисты" Костюкова. Запросто общается с кинозвездами 30-х годов герой М. Попова. И только солнечное затмение способно прекратить драку деревенской шпаны в рассказе Пецуха "Центрально-Ермолаевская война". Последний пример характерен. С одной стороны, космические силы тратятся на заведомые пустяки, с другой — какая же энергия в потенциале этих незатейливых крестьян, если понадобилось вмешательство космических сил.

Тождество событий здесь не случайное, и не зря Пецух начинает повествование об этом с удивления перед народной тайной — как всегда, иронически, но не вполне (принцип матрешки!): "Скажем, человек только что от скуки разобрал очень нужный сарайчик, объяснил соседу, почему мы победили в Отечественной войне 1812 года, отходил жену кухонным полотенцем, но вот он уже сидит у себя на крыльчке, тихо улыбается погожему дню и вдруг говорит: — Религию нову придумать, что ли?.."

Вполне и безусловно "новая волна" доверяет только де-

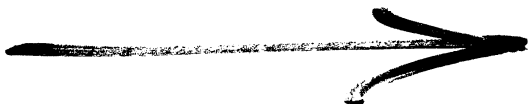
тали — преимущественно неодоушевленной. *Деталь* — опора, лишь она реальна и подлинна. У Чехова в "Даме с собачкой" сказано о зыбких отношениях Анны Сергеевны и Гурова: "Приехав в Москву, она остановливалась в "Славянском базаре" и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке". Полузабытость прошлого, неполная реальность настоящего, совершенная неясность будущего — во всем этом тумане, как маяк, сияет красная шапка посыльного: привет, знак, сигнал. Лишь это явственно, ощутимо и несомненно, лишь это одно может хоть как-то предвещать то новое и прекрасное будущее, на которое надеются чеховские герои. Пока шапка красна — жизнь не кончена.

Эффект красной шапки присутствует и в новой советской прозе. Об этом напрямую говорит М. Попов: "Поддельны характеры... — зато как естественны, обаятельны платки и пиджаки, как простодушны их фасоны, как трогательны белые носочки и какое доверие внушает узел галстука". Такой антропоморфизм одежды оправдан "доверием" лишь к неодоушевленному миру вещей: галстук долговечнее его владельца.

"Красные шапочки" нового поколения прозаиков противопоставляют лесу общественной тенденции бесстрастность и точность. При этом их главное оружие — деталь: "Хунвэйбины забросали наше представительство глиной и дохлыми воробьями" (Бычков).

И пусть этот мастер точного штриха потом окажется самозванцем — не приезжавшим из-за границы специалистом, а всего лишь местным дворником. Это неважно: нет сомнения — он писатель, потому что сочиняет вдохновенно и достоверно. Кстати, и его дворницкая профессия ничему не противоречит. Ведь он писатель "новой волны".

Той самой волны, для которой ценны лишь творцы, скептически и пристально глядящие на окружающий мир, с иронической усмешкой фиксируя спасительные детали.



II

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

Проза Татьяны Толстой

Название пока единственной книги Татьяны Толстой — “На золотом крыльце сидели...” — служит ей одновременно и эпиграфом. Первая строчка известной считалки относит читателя к источнику всего творчества Толстой — к детству. Тут же скрывается и основной принцип построения рассказа — принцип свободного распределения ролей: “Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты такой?” Каждый персонаж сам назначает себе судьбу, но по правилам игры, единственным правилам, которые признает автор, тот, кто уже стал королевичем или портным, обязан нести свой жребий до конца. Ни жизнь, ни Толстая не простит измены — “так не играют”.

Но есть в этом заголовке-эпиграфе и еще одна важнейшая особенность — считалка представляет собой замкнутую, кольцевую композицию. У нее нет ни конца, ни начала, она вечно ходит по кругу — как часовая стрелка. На образ-символ круга, кольца, повторяющегося действия, возвращающегося сюжета нанизаны все рассказы автора. В структуре любого из них центрирующая сила побеждает центробежную, потому что главная цель Толстой — защититься от мира, встать в круг и, повернувшись спиной к чужому и страшному внешнему миру, повторять бесконечные слова считалки: “На золотом крыльце сидели”.

В беседе о творчестве В. Маканина Толстая, говоря об особенностях его метода, как бы подсказывает читателю и способ анализа ее собственных произведений. Она призывает искать “ключевую метафору, которая “разлита в тексте””.

Не найдя этого ключа, читатель рискует заблудиться в густой и красивой словесной вязи Толстой, так и не проникнув в ее своеобразную философию жизни.

Сюжеты Толстой строятся по определенной, весьма жесткой схеме. Обычно это история преступления и наказания: герой изменяет своему детству и за это расплачивается бессмысленно прожитой жизнью — смерть почти всегда подстерегает

его в финале. Ведь рассказы Толстой посвящены не эпизоду, а всей судьбе человека — от начала до конца. Это вот именно — история героя, в которой пунктиром запечатлена его внешняя биография, но зато ярко и подробно раскрыта эволюция, чаще — деградация, внутренняя.

Хорошо пишет Толстая только о неудачниках. Ее героини — несбывшиеся Золушки, герои — несостоявшиеся принцы.

Если же в прозу Толстой забредет посторонний герой — хамоватый, самоуверенный хозяин жизни, то он и выглядит грубым пришельцем, разрывающим хрупкую ткань рассказа. Так, художественным провалом заканчивается попытка автора изобразить человека, променявшего — буквально — душу на успех ("Чистый лист"). Герой, переставший быть неудачником, настолько мерзок Толстой, что она превращает его в плоскую карикатуру, говорящую на диком сленге молодежных журналов: "Ты, че, шеф, гляделки посеял?"

Однообразие сюжетной схемы, предсказуемость фабулы — естественное качество Толстой. Жизнь, истолкованная как ряд событий, у всех одинакова, как неотличимы автобиографии разных людей, собранных отделом кадров: родился — учился — женился, умер (добавляет Толстая уже от себя).

Вот против этого страшного, бессмысленного однообразия и восстает Толстая. Орудие ее бунта — прекрасный метафорический мир, выросший на полях биографии героя. На бегло прочерченном мелком сюжете она вышивает бесчисленные арабески. И вот уже и не найти среди орнаментальных извивов, капризных узоров, причудливых завитков незатейливую, да и не очень-то важную историю героя, которую Толстая якобы взялась рассказывать.

Толстую упрекают за излишнюю метафорическую густоту, советуют проредить лес, чтобы можно было разглядеть деревья. Но на самом деле в незаписанных местах будут проглядывать скучные проплешины. Подлинный мир, по Толстой, только тот, что возникает из метафор-уподоблений.

Все, что попадает в рассказ, не остается без сравнения. Но смысл этой метафорической истерики отнюдь не в том, чтобы поднести читателю более яркую, убедительную, достоверную картину, не в том, чтобы указать, что на что похоже. Метафора Толстой — это свернутая в тугой клубок сказка. В любом абзаце собирается пригоршня таких сказок, еще не рассказан-

ных, но содержащих в себе потенциальную повествовательную энергию: "В углу стоит кудрявый конус запаха после покурившего "Беломор" соседа. Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается по черному ветру. Голое дерево поникло от горя".

Конечно же, в этих оживающих вещах легко узнать источник Толстой — Андерсена и всю традицию литературной сказки, которая с таким искусством умеет создавать уютный, домашний, горьковато-ироничный мир умных разговорившихся вещей. Мир, в котором взрослые, серьезные, полезные вещи, такие, как Штопальная Игла, превращаются в игрушки, вроде Оловянного Солдатика, люди становятся куклами, их дома — кукольными домиками, их города — городами в табакерке.

Метафора Толстой — волшебная палочка, обращающая жизнь в сказку. Единственный способ спастись от разрушительного, опошляющего вихря так называемой настоящей жизни — не поверить в то, что она настоящая, вернуться в безопасное "пещерное тепло детской", в светлый круг ясных и честных сказочных правил, которые всегда, даже среди чудовищ, порожденных детским страхом, — "Индриков и Хиздриков", — оставляют спасительную лазейку: "Туго с головой завернусь в одеяло, пусть один нос торчит — спереди не нападают".

Короче, автор — человек, который отказывается вырасти. Именно поэтому ее главный враг — неостановимый бег времени. Толстая его останавливает, встраивает ту самую "ключевую метафору" в каждый свой рассказ. Это — образ механического, заводного мирка, который с поворотом ключа, каждый раз заново, начинает свою размеренную, игрушечную, "ненастоящую" жизнь.

Рядом с неудобным, чужим взрослым миром у Толстой всегда коробка с игрушками. Вместо грязных и шумных настоящих паровозов — детская железная дорога: приветливые вагончики, аккуратная будка стрелочника, зеленые деревца. И поезд ходит только по кругу — побывав в пункте Б, он всегда возвращается в родное депо пункта А.

Эта кукольная алгебра — стремление к безмятежной, замкнутой, кольцевой вселенной — доминанта творчества Толстой.

В рассказе "Река Оккервиль" герой — Симеонов — в про-

тивовес хмурой реальности строит в своем воображении один из тех городков в табакерке, которые с упрямым постоянством встречаются чуть ли не в каждом рассказе: "Нет, не надо разочаровываться, ездить на речку Оккервиль, лучше мысленно обсадить ее берега длинноволосыми ивами, расставить крутоверхие домики, пустить неторопливых жителей, может быть, в немецких колпаках, в полосатых чулках, с длинными фарфоровыми трубками в зубах".

В таком городке, который помнит каждый, у кого были книжки с картинками, времени не существует. Ведь здесь только игрушечные люди, живых — нет и не надо. В них ведь и нет ничего хорошего, как обнаружили девочки из рассказа "На золотом крыльце сидели", открыв учебник анатомии и увидев голого мужчину, который, "содрав по этому случаю кожу, нагловатый, мясной и красный, похваляется ключично-грудинной-сосковой мышцей... перед учениками восьмого класса".

Вот и Симеонов из "Реки Оккервиль" сделал такое же печальное открытие, когда, влюбившись в голос Веры Васильевны, голос, вечно поющий с пластинки чудесное "нет, не тебя так страстно я люблю", решил найти живую певицу. Пока она в "круглых каблуках" ступала по вымощенной им брусчатой мостовой, мир был разумен, прекрасен, уютен. Но настоящая Вера Васильевна, грубая старуха, от которой на стенках ванны остаются "серые окатыши" — ужасна. Только какая же из них настоящая? — спрашивает Толстая. Та воздушная, изящная с реки Оккервиль, или эта, жующая грибки и рассказывающая анекдоты? Настоящее — это ее голос, который удалось вырвать из-под власти времени и запереть на круглом диске грампластины — навечно.

Только в мире механического повторения, только во вселенной, которая приводится в движение заводным ключом, можно вырваться из поступательного — и — наступательного хода времени.

Так, в рассказе "На золотом крыльце" выросшая героиня обнаружила, что волшебный мир ее детства грубо порушен годами. От "пещеры Алладина" — комнаты соседской дачи — остались только "пыль, прах, тлен". Но среди разрухи уцелели заводные часы: "Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съжились маленькие жители — Дама и Кавалер, хозяйева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклюнуть скорлупу десятилетий".

Такие часы, хитрая механическая игрушка, представляют авторский идеал — время, которое идет не вперед, в будущее, а по кругу.

Чаще всего герои Толстой — малые и старые. Только такие персонажи удовлетворяют ее тягу к вневременному существованию.

Дети — это другие (в рассказе "Свидание с птицей" даже выясняется, что у них есть жабры). Жизнь не властна над ними — "Он еще маленький, и душа у него запечатана, как куриное яйцо: все с нее скатывается". Они существуют в измерении сказки. Того, что взрослые называют настоящим, они просто не знают.

Но и в старости люди приходят к восхитительной способности не различать подлинного и иллюзорного. А все потому, что они вырвались из времени. "Весна!!! Лето. Осень... Зима! Но и зима позади для Александры Эрнестовны — где же она теперь?" ("Милая Шура"). Нигде, — отвечает Толстая, — *нигде*. Она выпала из жестокого хронологического времени, времени, в котором существуют все эти "раньше — позже, сейчас — потом, вчера — сегодня", в вечность.

Ненавидя время, Толстая нашла особый способ борьбы с ним. Вот ее героиня сидит в кино: "Александра Эрнестовна трещала мятым шоколадным серебром, склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти". Эти челюсти автор не может видеть, не может, глядя на них, вспомнить аптеку. Но она и без того уверена, что у старух "хрупкие аптечные челюсти". Это она их вставила своей героине, потому что знает, что так бывает *всегда*.

Толстая пользуется тем временем, которое в английском называется Present Tense. Действие в ее рассказах происходит не в прошлом, не в будущем, не в настоящем, а в том времени, которое есть всегда. Дождь падает на землю — не вчера, не сегодня, а всегда падает на землю, потому что ему больше некуда падать.

Вот в таком, вечно повторяющемся времени и хотела бы поселить своих героев Толстая. Она не доверяет всему живому, меняющемуся, вроде "недолговечных белых собачек", которые исчезли из жизни Милой Шуры. То ли дело ее верный Иван Николаевич, который все ждет и ждет свою возлюбленную Александру Эрнестовну. Поймав его в грамматический капкан это-

го самого Present Tense, Толстая сумела оградить Ивана Николаевича от ненавистного бега времени.

Поэтому милая Шура, как застрявшая пластинка, повторяет историю про трех мужей и Ивана Николаевича, сумевшего проскочить сквозь годы, чтобы бестелесным призраком являться на перрон южного вокзала. Раз за разом, раз за разом, каждый раз, как открывается пухлый фотоальбом с замершей в вечности жизнью.

Вещи у Толстой вообще счастливее людей — они не меняются, как люди. Им она и завидует. То-то ей так жаль писем, оставшихся после смерти Александры Эрнестовны. Ведь там милая Шура могла бы жить вечно — молодая, прекрасная, нестареющая.

По сути, Толстая занята только одним — она стремится остановить мгновенье, застыть в нем, как муха в янтаре. Но важнее всего — какое выбрать мгновенье, где или, точнее, когда должен замкнуться круг, чтобы никогда не надоедало возвращаться в кольцо прекрасной сказки.

"Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут", — повторяет она в одном из самых характерных рассказов "Круг", в рассказе, посвященном трагической ситуации неузнавания "своего прекрасного мгновенья".

Герой "Круга" пытается найти "тайную тропку в запретное", вырваться из "обыденного". Этот классический романтический конфликт между мечтой и действительностью Толстая разыгрывает по своим нотам.

Скучная жизнь Василия Михайловича потому и скучная, что он ищет выхода, не выходя за пределы обыденности. Ему нужно чудо, а он ищет женщин, занимается какой-то дурацкой йогой, вертит зачем-то до одури кубик Рубика. Василию Михайловичу все попадаются псевдоключи к псевдомиру, который он принимает за настоящий. Он вертится как белка в колесе, да не в том колесе, что надо.

И только однажды "он ощутил близкое присутствие чуда: за дерматиновой дверью, может быть, той самой единственной дверью на свете, зияет провал в иную вселенную". За этой дверью живет карлица-спекулянтка, бывшая цирковая лилипутка. Такой ее видит Василий Михайлович. Но мог бы, если бы сумел, увидеть не злобного тролля, торгующего дефицитом, а "крошечного, полупрозрачного эльфа", мог бы, как ему под-

сказывает автор, перенестись вместе с ней в очередной городок в табакерке, где бы его ждали и "зарешеченные замки", и "стража с алебардами", и "вороной конь".

Вот если бы он сумел вернуться в праздничный детский мир, где живут не люди, а куклы, маленькие, как эта лилипутка, несчастный Василий Михайлович смог бы проникнуть за черствую корку внешнего бытия к подлинной, то есть, по Толстой, сказочной реальности, чтобы счастливо застыть в ней.

Такие же, непонявшие, обманувшиеся герои толпятся во всех рассказах Толстой. Как жители пещеры Платона, они не решаются обернуться, чтобы увидеть яркий мир, удовлетворяясь всего лишь его смутной тенью на склизкой стене.

Для Толстой норма — безумие, и только безумные — нормальны. Только они остаются в выигрыше, обменивая вымышленную жизнь на настоящую. Такова Светка-Пипка из рассказа "Огонь и пыль", которая "никому не завидует, у нее есть все, да только придуманное". Таков Филин из "Факира" — маленький (в противовес сказочной женщине-гиперболе тридцатishестизубой Светке) аккуратный волшебник, "движением бровей преображающий мир до неузнаваемости". Такова, прежде всего, сама Толстая, владеющая тем ключиком, с поворотом которого приходит в движение ее игрушечная вселенная.

Не то чтобы Толстая не знала, что так не бывает. Напротив, ее рассказы жестоки, даже безжалостны к тем, кто не желает подчиниться сказочным порядкам. Нет, Толстая отнюдь не добрый волшебник, и сказки у нее с плохим концом. Мир страшен сам по себе. Жизнь изначально трагична уже потому, что подчиняется Хроносу. (Поэтому, кстати, кажутся лишними специальные нагромождения ужасов, например, описание блокады в рассказе "Соня").

Однако, Толстая и не принимает *такую* жизнь. Наперекор ей она создает свой мир — прирученный, уютный, бессмертный. В нем живут умные говорящие вещи, такие, как "молодой, пугливый абажур" из рассказа "Любишь — не любишь", в нем всегда царит загадочный и праздничный рождественский дух, в нем говорят на языке щелкунчиков (немецком? — не зря герой рассказа "Петерс", человек с украденным детством, мечтает выучить именно немецкий).

Конечно, весь этот мир — невелик. Он умещается под детской кроватью. Зато он умеет пускать отростки в мир взрос-

лых. Каждый раз, когда Толстая во что-нибудь всматривается, под ее взглядом распускаются метафоры. Они берут персонажа в волшебный плен, делают его героем сказки. Только никогда они не успевают схватить протянутую автором руку помощи — хищная жизнь окунет их с головой в Лету. Никому не удержаться на зыбкой границе между подлинным миром и вымышленным, никому не удастся даже понять, какой из них — истинный. Маленькие вырастают, старые умирают, и только автор, как больной ребенок, от тоски и одиночества переселившийся в иллюзорный городок в табакерке, остается наедине с никому ненужными, всеми забытыми вечными вещами — выцветшими фотографиями, заезженными пластинками, пожелтевшими письмами, часами, в которых золотые дамы подносят золотым кавалерам золотые кубки.

Проза Татьяны Толстой — вид утонченного эскапизма. Мало сказать, что ее рассказы камерны — они декларативно камерны. Большое тут — знак чуждого, враждебного мира, где не срабатывают законы ее кукольной вселенной. В ее рассказах помещаются только маленькие люди — не Башмачкины, а Стойкие Оловянные Солдатики. Только про них она знает всю подноготную, только их умеет любить и жалеть. Поэтому и не удаются Толстой отрицательные персонажи. Она не знает их языка (что видно по очень редкому в ее прозе диалогу), они не из ее круга.

Впрочем, и с ними — “отрицательными” — Толстая щедро делится своим видением мира. Ведь их истории она рассказывает своим голосом. Чужих слов у нее вообще немного. Рассказывая свои невеселые сказки, Толстая, как в детском кукольном театре, говорит за всех сама — единственная хозяйка измышленного ею простого и вечного мира, который хорош уже тем, что не похож на сложный и бесконечный мир настоящий.



Андрей Битов

ИЗ ЦИКЛА "ПОГРЕБЕНИЕ ЗАЖИВО" (ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКИХ СОВРЕМЕННОКАХ)

Если мы называем кого-то давно мертвого бессмертным и даже "вечно живым", то что мы имеем в виду? Он увлекает нас своим примером, подавляет своим величием, вдохновляет идеалом гораздо более, чем любой рядом живущий — зачем? Этого ли он сам хотел? Хотел ли он, чтобы мы так уж его любили, чтобы мы отливали ему памятники и праздновали его юбилей? Хотел ли он бессмертия в нашем понимании благодарных потомков? Ради этого ли преодолевал он немоту и находил неповторимые больше никем и никогда слова? Даже если принять за аксиому что-то прижизненное заявление, что все великое создавалось из страха смерти, как преодоление ее?.. то — вряд ли. Вряд ли гений брался за перо, кисть или резец, чтобы пережить себя в нашей памяти. И слава Богу, что не отравлено было непосильное существование гения еще и переводной картинкой нашего ему монумента, зрением нашего восхищенного лица, а то бы отбросил он к чорту свой резец вместе с кистью и пером и ничего бы именно для нас с вами не создал.

И если жаждал бессмертия гений, если и впрямь так уж боялся смерти, то боялся он именно умереть как живой человек, как мы с вами. Только, если уж боялся, то во столько же раз больше, во сколько его гений превышал наши с вами потопственные возможности. И разжег он свою огромную печь, прогорел и погас, протопив улицу... И так велик был этот жар, что остался он жив между нами не только в остывшем загробном памятнике, не только в скудной нашей памяти, но и на самом деле, как прохожий, как сосед в кафе или житель соседнего подъезда. Признание ли то или насмешка Провидения над ним самим? Не наказали ли его за преувеличенный страх смерти преуменьшенным правом жизни: быть живым среди нас с вами, но еще меньше, чем жива для нас кошка или птичка? под сенью собственного, птичкой же и собачкой, оживающего монумента?

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЗАЙЦЕ?

(Пояснительная записка к проекту придорожного памятника)

Рассуждая о последних днях Пушкина, мне уже приходилось размышлять о месте примет и суеверий в его жизни, весьма значительном... Меня тогда поразило необычное пренебрежение, возможно, сознательное, внезапно проявленное к приметам, которым в прежней жизни следовал он неукоснительно, именно в роковой день 27 января 1837 года (см. "Статьи из романа", М., 1986, с. 228-230). В той же книге (с. 291) упомянут некий корреспондент, приславший мне обширное изыскание о роли дат в судьбе поэта. В это послание входила и небольшая его поэма, снабженная громадным комментарием, более освещающим обстоятельства написания ее, нежели сам предмет. Комментарий этот однако не лишен не только точных наблюдений над самим собой и своим творческим процессом, но и некоторых свободных раздумий о судьбе поэта, более гипотетических, нежели обоснованных. Все это и в целом достаточно любопытно, но слишком объемно и годится лишь для журнала. Здесь же я рискую предложить читателю лишь самую поэму с предельно сжатым комментарием.

В основу "поэмы" положен парадоксальный факт, известный со слов самого поэта. Как, не ведая о предстоящем выступлении декабристов, по некоему (корреспондент мой увлечен парапсихологией) наитию, Пушкин срывается, в нарушение всех запретов, из Михайловского в Петербург, причем точно в последний момент, чтобы поспеть к 14-му, но, сорвавшись, тут же поворачивает обратно в силу череды дурных примет, последней и решающей из которых оказался заяц, перебежавший дорогу. Привлекая к своим выкладкам и модный ныне восточный календарь, сопоставляет он роковые для поэта 1825 и 1837 годы как годы Петуха, между тем рок таился, как в черепе Олега коня, в году его женитьбы, совпавшим с годом Зайца. Оставляя все эти изыски в стороне, от себя скажем, что Пушкину на его жизнь вполне хватило примет народных, от зайца до копейки, нами напрочь забытых, вытесненных суевериями

восточными, в свою очередь неувоенными. Пушкин, по-видимому, не знал, что он — Близнец и Овца (впрочем, это еще следует проверить...), но, во всяком случае, не мог бы придавать этому значения как реалиям сознания и судьбы, того значения, которое он, исподволь, придавал преданиям и приметам, народным и родовым, родившись под *своею* звездой и дожидаясь своей *звезды*.

Итак, вот эта "поэма"...

1825-й год

I. Обзор лирики

ЗИМОЙ: "Письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню... пылают — легкий дым...
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен... мой талисман, храни
Меня во дни гоненья, во дни..."

(Посвящено разлуке с Воронцовой:
"Сожженное письмо", "Желанье славы" (новой...)
ВЕСНОЙ: "глава... падет... мой незрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро ВЕСЬ умру". (Со строчки сей проценты
Начислим на последний monumentum:
"Нет, ВЕСЬ я НЕ умру...")

В ту ОСЕНЬ он пророчит:
"Я НЕ умру, — (в письме), — Бог не захочет,
Чтоб "Годунов"...

(Меж этих двух прозрений
Есть ЛЕТОМ "мимолетное... как гений..."
Мгновенье чудное...)

Лицейское, осень,
"Отрадное свиданье", как виденье
То, мимолетное...

Полнее... наливайте...
Стакан!.. "до дна, до капли выпивайте!"
Полней, полней! ты, солнце! ты, заря!
Но за кого? о други, возгоря...
Увы... Ура! наш царь! "наш круг... редеет;

Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;
Судьбе глядит..."

Страданье, мрак, мечта,
Мысль, ревность лиры, мщенья красота —
"Все в жертву памяти" — изгнание, славы блеск... —
Все той же воспаленной девы...

"Мне скучно, бес".

"Что делать..."¹

2. Перед 14 декабря (не ранее 7 ноября)²

Фауст: Все утопить.

Мефистофель: Сейчас.

...Вообразим опальный домик...

В нем трость железная и Вальтер-Скотта томик;
Перо! гусиное... и детская кровать,
Где, с тем пером, любил поэт поспать.
Какие сны!.. — лишь Гамлет растолкует...
Голубка дряхлая за стенкою воркует.

Он не хотел вставать. Ему неясно было,
Как новый день начать. Ему было постыло.
Поутру пробивать в кадушке тонкий лед,
Из самовара пить и есть все тот же мед.

Седлать коня!.. — от праздности несчастной
Хотел он ускакать. Но ветер дул ненастный
И шляпу сдул. И обломился ноготь,
Что холил он... Он сел. Придется трогать.

Конек был не бог весть. Здесь лучше без меня
Опишет сам он резвый бег коня,
Треск, звон и блеск... Они хандру развеют.
Одно бесспорно: всадник был резвее.³

Аршин двух с небольшим. Лет — двадцати шести.
И гений в остальном. У власти не в чести.
Окончен "Годунов". Не лучше у Шекспира.⁴
Нет Байрона...⁵ Почтенна Гета лира.⁶

Обрыдло здесь — и осень не прекрасна.
С Европой кончено.⁷ Не пустят. Что ж так страстно
себя опережать? На площади "народ
безмолвствует" на сотню лет вперед.

Бессмысленно. Выходит первый сборник.
Друзья обречены. А он... слуга покорный!⁸
Не выйдет... Почитать им "Годунова"...
Успеть... к цыганам?... Начинай все снова!

Пять лет прождал... Пора в бега пуститься,
Коль до свободы — час и до конца — страница!
Не "Фауст", а "Кучум" или "Ермак" —
Поэма долгая — на добрый четвертак.⁹

"Ай, Пушкин! Сукин сын!"¹⁰ Сомкнуться со своими,
Единственным путем спасая честь и имя?
В Америку удрать? Жениться всем на зависть?..
...Ему наперерез слепой стремится заяц!

Вот смелый человек! Без страха и упрека.
От зайца убежать!.. Нам не постичь урока.
Он будущее знал... И, соскочив с лошадки:
— Мне скучно, бес, — сказал. — Одни и те же прятки!

— Что делать, Пушкин?
— Будет тебе, будет,
Сгинь, сатана! а я — как Бог рассудит.
(Был Гете жив, и не прочитан "Фауст"...
Здесь нету рифмы, кроме — "преступает".)

3. Памятник

Конец истории о том, как вдохновенье
Есть способ личности избегнуть раздвоенья...¹¹

...Заложат сани, кучер будет пьян.
Навстречу поп — еще в Судьбе изъян.
Тут заяц выбежит, и — никаких сомнений! —
Михайловское — лучше поселений.¹²

Он, как по нотам, повернет коня...
Так вот кто жил, Судьбе не изменя!
И бесы ничего поделатъ не могли.
(Я вновь не посетил тот уголок земли...)

Пустынный сеятель!¹³ Придет еще пора!
(Которой так давно придти пора.)
Отыщут перекрестье тех дорог,
Где Заяц поспешал к тебе в сто ног,
Воздвигнут обелиск...

О, как это красиво!

КОСОМУ – БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ

1. Первое стихотворение представляет собой коллаж из пушкинских, последовательно: "Сожженное письмо", "Желание славы", "Храни меня, мой талисман...", "Андрей Шенье", "К ^{xxx}", "Вакхическая песнь", "19 октября", "Все в жертву памяти...", "Сцена из Фауста", относимых автором сей поэмы к 1825 году, а также из письма В.А.Жуковскому от 6 октября 1825 года: "...посидим у моря, подождем погоды; я не умру; это невозможно; Бог не захочет, чтоб "Годунов" со мною уничтожился", – и из стихотворения "Я памятник себе воздвиг..." (1836). При всем старании, Пушкин не подчиняется упорному ямбу коллажиста; и наш автор вынужден прибегать к изменению пушкинской последовательности слов и даже редуцированию слогов (желание – желанье), что, конечно, недопустимо в цитировании. Сомнительны и его оправдания в точности датировки наличием "случайного, куцега" сборника под рукой. Желание сделать "разлуку с Воронцовой" сквозным мотивом лирики всего года привело к колебаниям от 1824 до 1827 года.

2. Окончание работы над "Борисом Годуновым" датируется торжествующим письмом П.А.Вяземскому около 7 ноября 1825 года.

3. Реалии пушкинской деревенской жизни достаточно носительны. Автор в своем комментарии признается, что ему за его жизнь так и не удалось навестить священное село. Детали его более прослышаны, нежели увидены и, скорее всего, черпаются им из непосредственного опыта собственной деревенской жизни. "Конек был не Бог весть", – может оказаться деталью

наиболее точной. Цитирую из комментариев автора: "Поэзия есть поэзия: "Встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня; арапники в руках, собаки вслед за нами..." (возможно, это у соседа было...) или:

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривую, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звонит промерзший дол и трескается лед.

Роскошно! Наверное, в седле, вскачь, он так себя и ощущал, как потом описывал. Но есть воспоминания крестьян о Пушкине, кем-то собранные. Крестьяне, народ хитрый и любезный, все угадывают, что нужно спрашивающему, и вырисовывается тот Пушкин, которого от них ждут: то добрый, то простой. Но вот один, по простоте уже собственной, так вспомнил: "Пушкин? что Пушкин... барин как барин. Кони у него были худые". Можно сказать, профессиональный взгляд, вызывает доверие. А вот и сам Пушкин пишет брату из Михайловского в том же 1825 году и наряду с Фуше, Шиллером, Шлегелем, Дон-Жуаном, Вальтером Скоттом, "Сибирскими вестником", вином, ромом, горчицей... "книгу об верховой езде — хочу жеребцов выезжать: вольное подражание Alfieri и Байрону". А вот в другом стихотворении, и то и другое:

...не вельть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня...

Нетерпеливый конь и бурая кобылка в одном лице — поэтический кентавр.

4. "...Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов... нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина..."

5. "Меж тем, как изумленный мир на урну Байрона зрит..." ("Андрей Шенье", 1825), отношение Пушкина к Байрону после написания "Цыган" не могло быть однозначным; его

уже раздражало традиционное восприятие его собственной поэзии “в байронической традиции”. “...тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостью... Обещаю тебе однако ж вирши на смерть его превосходительства” (П.А.Вяземскому 24-25 июня 1824 г.) “Никто более меня не уважает “Дон-Жуана” (первые пять песен, других не читал), но в нем нет ничего общего с “Онегиным” (А.А.Бестужеву 24 марта 1825 г. из Михайловского).

6. Шекспир, Байрон... В 1825 году Гете — единственный живой, живущий гений, современный Пушкину. Пушкин не читает по-немецки (“он знал немецкую словесность по книгам госпожи де Сталь...”), однако, даже почти заочно, существование Гете занимает его воображение (“но предпочитаю Гете и Шекспира...”). Гении чувствуют друг друга на расстоянии (и Гете умудрился переслать Пушкину свое перо, ни разу его не читая).

7. Имеется в виду, по-видимому, история с “аневризмом”, сопутствовавшая работе над “Годуновым”: прошения Пушкина о поездке для лечения в Европу, ничем, кроме окончания драмы, не кончившиеся (любопытно, что, взяв эту шекспирову высоту, Пушкин никогда более на “аневризмы” не ссылается).

8. “Стихотворения Александра Пушкина”, изданию которых посвящена значительная часть переписки 1825 года, выйдут в свет 30 октября, во время следствия по делу декабристов, — замечательная синхронизация!

9. “Но тут бы Александр Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего отчасти справедливого, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму *Ермак* или *Кучум* разнообразным размером с рифмами (“Воображаемый разговор с Александром I”, 1824).

10. Восклицание Пушкина из письма Вяземскому по окончании “Годунова”.

11. Судорога различного рода необратимых намерений как следствие непереносимо долгой и безысходной ссылки, разыгравшаяся с особой силой во время написания “Цыган”, как бы сходит на нет с написанием “Годунова”, что служит основанием для автора нашей поэмы, с одной стороны, выдвинуть ничем не доказанную, но и ничем не опровергаемую гипотезу об уточнении датировки “Сцены из Фауста”, а с другой,

осмыслить "роль зайца" в судьбе Пушкина... Представим себе, рассуждает автор, молодого человека, автора одной нашумевшей юношеской поэмы ("Руслан и Людмила"), ряда стихотворений, бродящих по рукам в списках, поэм "в байроническом духе" ("Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан"), хотя и поощряемого несколькими собратьями по перу, но совершенно забытого и брошенного в глухой деревушке. Какая Европа! какой мир!.. Пропась между русской и мировой культурой пройдена в нем одним, но никто в мире не ведает об этом, включая и друзей, восхищающихся его даром, но лишь с упреками в легкомыслии и недостатке рвения, не способных еще поставить его не только выше Байрона, но и на одну доску с ним... Между тем, этот молодой человек, в таком вот одиночестве, совершает непомерное усилие и выходит на мировую дорогу. Он ОДИН во всем мире имеет представление о том, на что идет и чего это стоит. Написание "Цыган" — есть преодоление Байрона: это уже только Пушкин, дальше Байрона. Шекспир — абсолютная высота, "Годунов" — рискованная ставка... Но и Шекспир, если не превзойден, то как бы уже не страшен ("голова кружится..."). Не характерно ли, что через два месяца он напишет "Графа Нулина" — пародию на Шекспира после "духа Шекспирова"! После "Годунова" (как бы ни оценивал он его про себя впоследствии) Пушкин уже ощущает себя тем Пушкиным, которым лишь потом ощутят его современники, а позднее и мы. Байрон, Шекспир... Гете! Сколь естественен подобный пушкинский пролет. Гениальная "Сцена из Фауста" может быть предположительно написана между "Годуновым" и "Нулиным" — Пушкин и Гете уже не только в одном времени, но и в одном пространстве мировой культуры, равноправные корреспонденты (один в русской глуши, другой — на европейском Олимпе); не в ответ ли на эту сцену пошлет Гете Пушкину свое перо?.. Итак, сосчитано до трех: Байрон, Шекспир, Гете, — сейсмическая чуткость к истории возбуждена до предела в душе поэта накануне событий 14 декабря, о точной дате которых он, скорее всего, не может быть никак информирован. Рискованные его намерения любым образом поменять судьбу до написания "Годунова" бесспорно привели бы его к участию в событиях, ибо таким образом поменять судьбу было в его власти, но... "Годунов" — написан, и судьба — преодолена. Пушкин — уже не тот же Пушкин, что до "Годунова": перед ним от-

крылась мировая дорога — его судьба. Сомнения Пушкина-друга, Пушкина-человека, прежнего Пушкина и Пушкина, вставшего вровень с мировыми гениями, Пушкина, которому вести Россию по открывшемуся пути, Пушкина настоящего, — мучительны в своем столкновении. Когда бы еще всего лишь заяц мог бы повернуть Пушкина в столь важном решении?.. Пушкин до "Годунова" — не обратил бы на него внимания и доскакал бы до Сенатской площади, и все было бы... Этот Пушкин повернул обратно и написал пародию на Шекспира, не свернул с мировой дороги, которую перебежал заяц. "...что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может это охладило б его предприимчивость и он со стыдом вынужден был бы отступить? Лукреция не зарезалась бы, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те... "Граф Нулин" писан 13 и 14 декабря... Бывают странные сближения..." Не более странно и сближение декабристов с зайцем. Но окажись Пушкин на Сенатской... история наша была бы другая. Как была бы она другая, переживи он роковую дуэль.

12. Несмотря на такую "положительную" роль зайца в его судьбе, Пушкин продолжал необъяснимо недолюбливать этого славного зверька. "Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал я на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы я дал, чтоб его затравить... нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался". 14 сентября 1833 г. Н.Н.Пушкиной из Симбирска — прямо калька с событий 1825 года... Далее злоключения пассажира развиваются: он вынужден повернуть в Симбирск: "Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом. Авось без приключений".

13. И это не такая уж шутка — наша благодарность как Пушкину, так и зайцу..."Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды..." — стихотворение написано в конце 1823 года.

ГОГОЛЬ В 1973 ГОДУ

Ленин и Гоголь

Было тридцать первое декабря; поезд прибывал в двадцать минут двенадцатого: сорок минут, чтобы поспеть к праздничному столу...

За час до прибытия заработал радиоузел. Спела Шульженко, еще кто-нибудь... Номера следовали без объявления и, что споят, что сыграют, можно было лишь догадаться или не догадаться. Следующим номером выступил чтец. Голосом народного артиста, подменив мастерство вымогательством реакции, говорком деда Щукаря, подмигивая и выжидая — стал читать "классику". Что это была именно классика, понималось сразу же по тому, какое большое значение придавал артист словам как раз не значительным: например, существительные у него были поглавнее глаголов; он выделял все время не те слова, но с такою уверенностью, какую могла придать этим лишним словам лишь очень большая слава, большая власть имени. Однако имени-то как раз мне угадать не удавалось, что несколько задевало мою профессиональную честь. И то, что я не сразу угадал текст, а лишь под подсказку имен собственных, как-то: Киев, Хома, — совсем меня раздосадовало. И даже такое мысленное восклицание в адрес исполнителя: мол, до какой же неузнаваемости можно довести текст! — не умерило этой самолюбивой досады. Я отвернулся, перестав слушать. В ночном окне не было ничего — отражался тот же вагон, тот же я. Как всегда, шестой, последний час пути был особенно лишним. Люди истомились, приближаясь. Преждевременно сложили вещи, преждевременно надели пальто, преждевременно столпились в проходе...

"И вдруг настала тишина; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучащие по церкви. Взглянув искоса, увидел он..." Все-таки странно, подумал я, — поезд Новый год, Вий... Чушь абстрактная.

Поезд стал сильнее покачиваться и подпрыгивать на стрелках, выбирая в дельте железной дороги, свой, частный рукав, свой тупик. А чтец продолжал, веселым голосом ликвидируя

ужасы и подчеркивая неистощимость народной фантазии, ее жизнеутверждающую силу... Как это ему удавалось? — это было и впрямь мастерство. Во всяком случае, звание свое он заслужил, он ему соответствовал...

“С ужасом заметил Хома, что лицо на нем было железное”, — радостно воскликнул чтец, и тут в динамике щелкнуло, и, показавшийся на этот раз таким естественным, железнодорожный голос произнес:

— Поезд прибывает в город-герой Ленинград...

Перрон. Клумба-могилка в конце пути. 23-25 на табло. Монумент, выбросивший руку: “Вот он!”

И лицо на нем было железное.

Внешний осмотр книги

Гоголь в издании А.Ф.Маркса, том четвертый — “две сцены, выключенные и при первом издании, как замедлявшие течение пьесы”. Явление Растаковского... Заинтересовавшись, ищу, остался ли Растаковский где-нибудь в основном тексте — листаю, не нахожу, заскучав, захопываю. Что такое?..

“Переплетная мастерская “Нивы”, — читаю внизу обложки. Так, аккуратно... Аккуратно т о г д а переплетали. Приятно в руке подержать... Зеленовато-голубой коленкор, золото все еще не вытерлось. Вензель — цветок-вьюнок — вопросом... Цены, однако, сзади нет. Но — что такое?!

Закрыл Гоголя — опять Гоголь. “Рисунок утвержд. Правительством”, — набрано под этим цветком. То есть, этот самый цветок утвержден. Трудно даже так себя утешить, что т о г д а у правительства был вкус неплохой, мол, вензель достаточно хорош... “Утвержд. Правительством”. Мы — соотечественники.

Шкатулочка в коробочке

Вообще-то мне всегда казалось, я себя тешил, что легко нахожу любое место в книге, какое мне нужно. Даже давно читанной книги, в незнакомом издании. Раз-два, открыл, заглянул, вот оно. Единственное место — трудность — не заметить за собой этот шик.

Есть авторы, воды которых сразу смыкаются за читатель-

ской кормой, остается впечатление, даже потрясение, но почти такое же тотчас не расчленимое, как сама закрытая книга. Так Достоевский. Пока читал, забыл слова, которыми было написано. Так вот, даже у Достоевского я сразу отыщу нужное мне место. Проблема только — вспомнить какое... Дуэль? где у него дуэль?.. Не там, не там и не там. Значит, "Бесы". В "Бесах" — где? Не тут и не тут...

Казалось бы, у Гоголя мы помним все детали. С детства отчетлив, обведен каждый образ. Вот у него я никогда не могу отыскать, отворить томик там, где мне надо...

Пришла мне однажды идея взять эпитафией описание чичиковской шкатулки. Что может быть отчетливее этого предмета! Вот она стоит у меня на столе, как произведение поп-артиста. Такой же будет и эпитафия, как переводная картинка! С радостью бросился я в то отчетливое место "Мертвых душ", где стояла шкатулка. Ее там не было. Там было лишь слово "шкатулка" и не то подмигнуто, что это замечательная шкатулка, не то обещано, что о ней еще не раз пойдет речь. С трудом отказавшись от того места, на котором она всегда для меня стояла (а именно — водворение Чичикова в гостиничном номере), я направился в следующее, где она, во вторую очередь, могла быть — но и там ее не было. Это меня уже обескуражило и задело — нехотя предположил я третье и почти был удовлетворен, когда ее и там не оказалось. Я стал листать вдоль и поперек, поневоле увлекаясь и перечитывая отдельные главы, — шкатулки не было нигде! Но я ее помнил, как видел!.. Я провел в этом ожесточении целый день, так и не принявшись за работу. К вечеру я уже стал наткаться только на заново перечитанные места, а там где она д о л ж н а была быть — я уже помнил почти наизусть. Шкатулки же не было, как сквозь землю... вернее, сквозь страницу, меж строк провалилась. Я уже стал подумывать о необычайном художественном феномене, некоем чуть ли не голографическом (предвосхищении!) эффекте, при котором Гоголь ничего не затратив, заставил нас в и д е т ь буквально, физически... Да и повод перечитать "Мертвые души" под столь непривычным углом, в такой непоследовательности... за один этот повод можно было благодарить случай и не расстраиваться... Да и день прошел... Почти удовлетворенный отложил я книгу, мечтая о силе художественного образа. И потягиваясь ко сну, пролистнул книжку, как картонную колоду, как ног-

тем по клавишам... что такое? неужели! быть не может! Живой Гоголь усмехнулся с листа, да что там! я услышал, как он хихикнул, уткнувшись длинным носом в плечо...

Коробочка! В "Коробочке" помещалась шкатулка! Не знаю, с чего это именно "Коробочку" не тянуло меня перечитывать, почему именно в ней для меня шкатулки быть не могло?.. Точно одно, что это была единственная не перечитанная мною глава в этот "впустую потерянный" день.

Но этого мало — я же говорю, что услышал в своей комнате смех... Ибо, что же я прошел, наконец, отыскав злополучную мебель?

"Эк уморила как, проклятая старуха!" сказал он, немного отдохнувши и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же и не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение..."

Гоголь хихикнул.

P.S. Сейчас, когда я пишу все это, решил уточнить и ту фразу, что слышал в вагоне и запомнил очень отчетливо, про "железное лицо". И что же? История со шкатулкой почти повторилась, с той разницей, что "Вий" — покороче. Я нашел эту фразу в самом верху предпоследней страницы, отказавшись от поверхностных поисков и перечитав подряд. Ну, и не жалею.

Очень трудно находить что-нибудь в Гоголе, вплоть до смысла — тогда Гоголь как-то скукоживается, увертывается. Гоголь прячется, а когда вы наконец найдете — это будет не то, не он: не вы его нашли, он сам высунулся, где не ждали, где нет места вашим о нем представлениям, где его вчера не было. Тот Гоголь уже не там, где его помнишь, э т о т — не там, где его ждешь. Очередность Ноздрева и Собакевича не очевидна, а где Плюшкин — вы просто никогда не узнаете... И сколько ни листай, сколько ни старайся узнать ПРО Гоголя, в комнате останется только след смеха, тень носа и запах легкой нечистой силы.

Отпущение грехов

Итак, погребение заживо — условие бессмертия трупа.

История с Завещанием, захоронением, перезахоронением, надгробной плитой для Булгакова, передвижкой памятников

по Бульвару — все это столетнее скитание его беспризорного бессмертия, маята воскресшей души вокруг безвременно предавшего ее тела. И эти посмертные воспоминания о нем принадлежат не нам, а самому Гоголю.

Однако желание увидеть в предельности искусства Гоголя непременно нечто сатанинское, inferнальное, нечистую силу хотя бы — есть желание польстить себе. Мы не такие, не настолько, зато и не дьяволы — люди, с их слабостями, грешками, неокончателностью усилий и дел, но — люди. Якобы нам за нашу расплывчатость, ленивость, слабость, за принадлежность к роду человеческому, по самому жалкому счету и низшему пределу, зато уж обеспечено прощение, отпущение; слабость — наш земной вклад в кооператив на небесах. Человек же, не прощающий себе за страдания свои, не подменивший страданием совесть, не утешающий себя страданием, ничего не искупивший этим страданием, потому что до конца видел, что вещи эти сами по себе — страдание и совесть: страдание — жизнь, а совесть — Бог, — и нет тут способа устроиться, а совесть не подкупается страданием... такой человек для нас обуян гордыней и дьяволом. Как-то очень справедливыми кажутся нам гоголевские страдания, потому что он — не человек.

У Розанова есть "опавший лист" о том, что, мол, что угодно способен он, Розанов, о Гоголе представить — то-то, то-то и то-то (перечисляет, кажется, чрезвычайно добродетельные, редкие, подвижнические вещи) — одного никак не может представить: "того, что Гоголь перекрестился".

Однако вот его последние строки:

"Помилуй меня грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого креста!

Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?"

Как поступить...

Это больше, чем перекреститься.

1973

III

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВСКОЙ АНКЕТЕ

С Некрасовым и Чуковским я как-то одновременно не был знаком.

С Корнеем Ивановичем, возможно, были возможности. Но я обиделся. По глупости, надо полагать. Жалею страшно. Вот, однако, как это было.

Ноябрь 1962-го — был великий месяц надежд. Чуковскому дали Ленинскую премию (за "Мастерство Некрасова"), "Новый мир" опубликовал Солженицына. Но это еще что — у меня, месяца через три, должен был выйти "Большой шар", первая книжка!

Однако свертывались в трубочку ранние шестидесятые: "Один день Ивана Денисовича" оказался всего лишь одним днем (шутка тех дней...), тут же совпавшим с пресловутым "посещением выставки", повлекшим за собой... Книжница моя легла на прилавок ровно 8 марта 63-го года, как по заказу, в день открытия идеологического пленума ЦК, и явилась настоящим подарком для Обкома, устремившегося тут же искоренять "абстракционизм" на топкой ленинградской почве. Положительный прием, заранее уготованный моей книжке в конце 62-го, был прикрыт. Оставалась одна надежда, как и у всех — один свет в окошке — "Новый мир", и слух о намерении Чуковского написать обо мне. Ему она понравилась! Это ли был не праздник... Чуковский, к тому времени, из автора "Мойдодыра" вырос для меня в соседа Пастернака, на даче которого работал сам Исаич... слух этот окрылял меня. В Комарово меня удостоила дружеских бесед Лидия Корнеевна, я читал потрепанную рукопись повести "Софья Петровна", — и, комсомолец призыва 1949 года, ощущал под ногою первую кочку для первого сознательного шага. Но рецензия в "Новом мире" все не появлялась, и ровно через год, с масштабностью и точностью московского цинизма, появилась заметка пресловутого Ермилова об итогах за год после Пленума: "В результате" его, оказалось, появилось наконец что-то свежее и новое — первые книги Шукшина и Битова... Я поспешил воспользоваться этим объявлением, чтобы двинуть вторую книгу, радуясь уклужести врага, тут-то до меня и дошел второй слух, что Корней Ивано-

вич отказался от намерения писать обо мне в связи со статьей Ермилова. В ту пору я не придавал такого уж значения, а все равно детское чувство "несправедливости" (а она всегда от тех только, от кого не ждешь) заняло во мне: чем проза-то моя виновата? разве она стала хуже? Я еще не слышал о "либеральном терроре". Теперь я могу, конечно, себе сказать (через 20 лет): книжка, конечно, не стала ни лучше, ни хуже, но ведь похвалу Ермилова я не обсуждал, а пользовался так или иначе ею...

Итак, Корней Иванович вернулся для меня в зону "Мой-додыра", где он был и останется гением, и острая его полемика с критиками "Мухи Цокотухи" ("ЛГ", 68) не прошла мимо меня, и найденная на чердаке книжка уже тридцатых годов издания "Тараканище" поразила меня смелостью своею уже в шестидесятые: "...усатому, чтоб ему провалиться, проклятому!" На том мы и сошлись. Некрасовым я не увлекался. Я "проходил" его в 1952/53 учебном году. Сами понимаете, первый певец колхозного строя... Вкус к нему отбивали сначала учителя, а потом модные последователи...

И лишь сегодня, тридцать лет спустя, довелось мне пересмотреть свой взгляд. Блок навел. А именно ответ его на анкету Чуковского 1921 года:

"Чуковский: как вы относитесь к известному утверждению Тургенева, что в стихах Некрасова "поэзия даже и не ночевала"?

Блок: Тургенев относился к стихам, как иногда относились старые тетушки. А сам, однако, сочинил "Утро туманное". "Утро туманное" — Тургенева?!..

Сличил Блока с Ахматовой. Ответы оказались на редкость точными и сходными, именно благодаря независимости этих ответов. Мое глубокое незнание Некрасова за пределами школьной программы поколебалось, и, благодарный вкусу двух поэтов, я прочитал превосходные стихи "Еду ли ночью по улице темной...", "Угомонись, моя муза задорная..." (у Блока "Умолкни, Муза...", которого я не нашел), "Рыцарь на час", "Внимая ужасам войны" (стихотворение, указанное обоими поэтами), "Влас", "Орина, мать солдатская". Оставляя сейчас в стороне первые и неизбежные размышления о том, почему эти стихи были выделены этими поэтами, размышления очевидные, поверхностные, обращаюсь к изданию Некрасова, которым я пользовался в своем "исследовании". Это было то издание, ко-

торое оказалось. А оказалось оно в примечательной абхазской деревне Тамыш в библиотеке моего друга Даура Зантария: "Сочинение в трех томах, Москва, 1953", составление, редакция текста и комментарии Корнея Чуковского. Почему через тридцать лет, почему в абхазской деревне, почему по этому изданию?.. Долго живу. Итак:

"Еду ли ночью по улице темной..." — Первое стихотворение Некрасова, изображавшее, как в капиталистическом обществе нужда и голод толкали женщину на путь порока. (Т. 1, с. 407)

"Рыцарь на час" — нет никаких оснований полностью отождествлять героя этой поэмы с личностью Некрасова. (Т. 1, с. 431)

Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни — вперед и вперед!
Увлекаем бесславно битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал — и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздноболтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилась,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билось,
Что умел он любить...

Рыцарь на час, 1860

И далее до конца, да и все стихотворение, без изъятий как понятно, что оно нравилось Блоку! Корней Иванович: "Нет никаких оснований полностью отождествлять героя этой поэмы с личностью Некрасова.

Тоска Некрасова по революционному подвигу сказалась в этом стихотворении с огромной лирической силой". Произносит же слово "лирической"...

Некрасов был экологической нишей Чуковского долгие и тяжелые годы (как и Герцен был культурной нишей, многих, — Л.К.Чуковская, Л.Я.Гинзбург: для начальства и Некрасов, и Герцен были “прогрессивные”) но ведь это именно он, выходит, занимаясь благородным делом издания великого поэта, лично у меня отбивал навек к нему охоту. И кабы не мой ничего не смысливший в литературе дядька не тянул иногда своим тенорком: “Средь пустынных сторон затерялся...”, то не мог бы я теперь назвать ни одного стихотворения Некрасова, задай мне кто-нибудь подобную анкету... Да, впрочем, я и не знал, что слова-то песни — некрасовские, а не народные (песня в те годы иначе как дядей моим и не исполнялась, ввиду повидимому повышенной ее конфликтности и явной асоциальности).

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Эфиопы — видом черные
И как углие глаза,

Крскодилы, змии, скорпии
Припекают, режут, жгут...
Воют грешники в прискорбии,
Цепи ржавые грызут.

Гром глушит их вечным грохотом,
Удушает лютый смрад,
И кружит над ними с хохотом
Черный тигр-шестокрылат.

Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...
Там, на хартиях написаны,
Влас грехи свои прочел:

Влас увидел тьму кромешную
И последний дал обет...
Внял Господь — и душу грешную
воротил на вольный свет.

“Влас” — одно из первых произведений русской поэзии, в котором обличается деревенский кулак. Видения Власа во время

его болезни (бесы, ведьмы, крокодилы и т.д.) заимствованы Некрасовым из лубочных картин, изображавших ад.

И после смерти возводится преграда между лириком и лирикой! Чтобы, не дай Бог, мы не поверили поэту, не поверили, что перед нами исповедь его души, а то вдруг поверим и в ее существование... Так, спустя тридцать лет, ответил Чуковский на собственную же анкету, упуская, что отвечает он на нее Блоку и Ахматовой (и многим другим, ответов которых я не знаю: Белому, Сологубу, Маяковскому, Вяч. Иванову и др.) И — мне спустя еще тридцать. "Но не судите, да не судимы будете" — вторая половина пословицы имеет отношение к году издания 1953. Второй том подписан к печати 22/VII, третий 19/VIII, а первый почему-то 1/IX (пожалуй, вносились в статью исправления в связи с изменившейся исторической обстановкой). Надо полагать, основная работа над трехтомником была проведена до 5/III того же года... И все же — упаси нас заподозрить лирика в упадочном настроении, только в связи с дореволюционными и внешними обстоятельствами... Лишим лирика единственного его права — на трагедию! Живи Блок до 1953-го года (ему было бы всего 83 года — возраст, в котором Корней Иванович всех поражал своей молодостью и ясностью мысли), что бы он ответил?..

Рассказывают также, что Корней Иванович говаривал: "В России писатель должен жить долго. Когда мне исполнилось 60 лет, меня не поздравили даже дети. Когда мне исполнилось 70, меня поздравила вся страна. Когда мне исполнилось 80, меня поздравил весь мир".

Конечно, редкое здоровье, удивительное присутствие духа... Не каждый от природы наделяется таким. Но пусть не как Чуковский, а хотя бы как правители наши — Сталин, Хрущев, Брежнев, живи наши поэты лет до 75, то...

Чехов немногим бы не дожил до 1937-го (ему так и так его бы не пережить).

Сердце Блока остановилось бы в грозном 1942-м, не выдержав очередной всенародной битвы, и это было бы символично.

Реабилитированные Цветаева, Мандельштам, Маяковский, Есенин запросто попадались бы мне навстречу на дорожках Тарусы или Переделкино...

Не исключено даже, что я был бы знаком с Зоценко, Пла-

тоновым или Заболоцким. Как бы я, несчастный, старался им понравиться! Как плохо бы это у меня выходило...

Ничего, казалось бы невозможного — все они были крепкие, красивые люди... Но — невозможно. Не может быть, потому что не может быть никогда.

Рассказывают также, что сердце у Корнея Ивановича (как показало вскрытие) и прочие внутренние органы были замечательные, их хватило бы еще на несколько десятков лет и кабы не типичное для Кремлевки "вредительство", обычная простуда, прихваченная им в ее коридорах, то жить бы ему по крайней мере до 100 лет.

"Ну, мертвая!" — крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрее зашагал.

.....
На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так упоительно мал,
Как будто все это картонное было,
Как будто я в детский театр попал.
Но мальчик как мальчик — живой, настоящий,
И сани, и дровни, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И яркого солнца холодный огонь —
Все, все — настоящее, русское было...

Кто сочинил это продолжение? И сейчас ума не приложу. Какие бы они ни были, лишь в этих нехрестоматийных строчках отогрелся в нашу эпоху Некрасов.

И я бы мог дожить до XXI века, пусть и не в столь славном качестве и менее по заслугам. Что каких-то 63 года по Чуковскому!.. Но вот одно меня смущает, как мы все будем ставить двойку впереди? Что это за года такие пойдут, похожие не на года (тысячу лет мы ставили впереди лишь единицу...), а на марку "Жигулей"... 2001, 2002, 2003...

"В России писатель должен жить долго..." Боюсь, эта фраза может стать столь же расхожей и удобной, как и "Рукописи не горят".

И горят, и недолго.

И не должен.

1983, Тамыш

Абрам Куник

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ НА "ПАНЕЛИ"

Так довольно легко сошло мне с рук
выступление на "панели"...*

В.Аксенов. В поисках грустного беби.

Он полюбил ее тридцать лет назад — еще в юности. И двадцать лет ждал свидания. Любимую звали Америка. О первой встрече с нею он написал "Круглые сутки нон-стоп". Тогда, в 1975-ом, со страниц "Нового мира" покатали по фривэям кары, затряслись на дорожках джоггеры, забулькало джакузи, а драйверши и феллоуз приветливо замахали рукой автору.

Вероятно, были читатели, для которых эти "кары" действительно обернулись карой, а бульканье джакузи слилось с бульканьем зачастую нечленораздельной, немислимой, ненормированной речи автора. Но так противостоял Аксенов — убежденный западник — почвенникам. И чем, собственно, этот язык непонятнее языка какого-нибудь деревенщика?

Но главное не в этом. Главное, что неожиданно из этой абракадабры возникал образ Америки — образ непостижимой, фантазмагорической, инопланетной страны.

С тех пор прошло двенадцать лет. За это время Аксенов написал и издал много книг. В прошлом году вышел его... "Позвольте сосчитать, — спешит на помощь сам писатель, — вот именно — четырнадцатый — роман" (118). Четырнадцатый роман — это новая книга об Америке "В поисках грустного бе-

* В.Аксенов. В поисках грустного беби. Нью-Йорк, изд-во „Либерти“, 1987, с.171. Далее ссылки даны в тексте.

би” — род беллетризованных мемуаров. Жанр, чреватый опасностями, если, конечно, автору не посчастливилось быть пиратом, террористом или перебежчиком. Аксенову не посчастливилось.

Что русскоязычный читатель — и в эмиграции и в метрополии (если ему повезло) — жадно набросился на новую книгу об Америке, — естественно. Ведь с 1975 года прошло двенадцать лет. За это время Аксенов сменил гостевую визу на американский паспорт, лекторские гастроли на профессорство в американском университете и теперь без помех, без Главлита, Госкомитета по печати и Секретариата Союза писателей, может нам рассказать о Ней и о себе.

И что же? Все так же катят кары, булькают джакузи, трясутся джоггеры. Все так же... Впрочем, не будем забегать вперед.

Сказать, что Василий Аксенов был в России одним из популярнейших писателей, — согрешить трюизмом. Его имя было, если не на языке, то на слуху у всех — от академика до дворника, от студента до рабочего. И единственное, что в этом заявлении интересно, так это сам феномен популярности.

У Аксенова есть несомненные заслуги перед русской литературой. Василий Аксенов был вождем шестидесятых, поколения, сопротивлявшегося стандартизированной советской жизни, изоляционизму, пошлости соцреализма, — одним словом, — власти. Как сопротивлявшегося, — это уже другой вопрос. Но они были едины — писатель и его публика. И Аксенов хранит память о тех временах. Его ”Поиски грустного беби” — это не только поиски Америки, которую он так любил в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые. Это еще и поиски себя того времени, себя молодого, но уже в роли лидера, в роли вождя. Беда, однако, в том, что нынче он вождь без племени. Лидер без группы.

Я вовсе не хочу этим сказать, что эмигрант не может рассчитывать на лидерство. Может. Но только тот, кто был у себя на родине аутсайдером, кто не состоялся как лидер определенной социальной группы, неизменно вступающей в конфликт с властью, а если состоялся, то не изменил ей в эмиграции, продолжая жить ее интересами. Условие — для многих невыполнимое чисто практически, — скажем для театрального режиссера (что толку ставить на Западе ”Бориса Годунова” как антисо-

ветскую пьесу?) или для профессора университета (чья смелость предпочтения Мандельштама Лебедеву-Кумачу здесь не будет оценена). Для писателя, однако, это условие реально, если он наделен подлинным литературным и гражданским мужеством и к тому же несуетен душой. Пример известен всем — Герцен.

Этого условия верности и несуетности Аксенов, покидая Россию, видимо, не создавал (да и не только Аксенов). Может быть, ему казалось, что лидерство, как рубашки и галстуки, можно уложить в чемодан. Разумеется, у него были к этому некоторые основания. Американцы прекрасно его принимали. Он пользовался здесь успехом. Кажется, даже массовым.

Коварство ситуации, однако, состояло в том, что его принимали как русского лидера. Это был знак уважения к его роли на родине. Не вдумываясь в специфику русского искусства и тем более в специфику русской славы, Запад рассматривает популярность в России как победу поэта над толпой, то есть исходит из своих собственных критериев. (Очевидно, в значительной мере этим и объясняется чрезмерное уважение Запада к писателям и художникам, приехавшим с именем, и весьма скудный интерес к тем, кто его не имел.)

Аксенов же, как видно, считал, что, будучи знаменитым советским писателем, он легко станет знаменит и как писатель американский, — стоит лишь издать по-английски несколько книг, а со временем и вовсе перейти на писание романов, предназначенных для американских издательств и потому написанных в сущности начерно, под переводчика и редактора. Так, собственно, и писался "Грустный беби". Он ориентирован прежде всего на западного читателя.

Количество подобных примеров достаточно велико, чтобы говорить об определенной тенденции в эмигрантской литературе. Аксенов просто наиболее удобная фигура для ее иллюстрации, поскольку его знают и здесь и там.

Однако стремление угодить всем — разрушительно. Оно и в самом деле ведет на панель. По Фрейду, неудачная шутка Аксенова о выступлении на "панели" есть не что иное, как разговор...

Увы. Несмотря на английские издания, несмотря на доброжелательность массовой прессы ("обо мне чуть ли не каждую неделю писали в больших газетах"; 292), несмотря на ин-

тервью и чтение собственных произведений по радио, Аксенов все еще не стал ЗАПом (как иронично именует он тип знаменитого американского писателя), и еще никто не сказал, что Курт Воннегут отрастил усы, как у Аксенова.

Но довольно теорий. Пора перейти к конкретному разбору "Беби". "Любопытно мне было сейчас, когда я завершаю свою вторую книгу об Америке, — пишет Аксенов, — и нахожусь в преддверии своего "американского романа", прочитать те очерки 1975 года. Забавно прежде всего то, что в них, напечатанных в советском журнале "Новый мир", не содержится почти никакой критики американской жизни" (325).

Конечно, Аксенов ставит себе в плюс отсутствие этих критических наблюдений, поскольку советское издательство скорее всего его к этому склоняло. Думаю, что и публика расценила данное обстоятельство как смелость писателя, как его победу над властью.

Но боюсь, что в этом случае автор получил орден за несвершенный подвиг. Сказалась специфика отечественного восприятия искусства, где потребность в противостоянии власти больше, чем потребность в художественности. Это тоже традиция. Иначе как бы мог, например, Чернышевский называться писателем?

Однако, совершал ли Аксенов подвиг, приписываемый ему публикой, или нет, легко проверить, прочтя новую книгу. Тем более легко, что не только тема, но и композиция книг идентичны.

В "Нон-стоп" фантазии называются "Типичное американское приключение". В "Беби" — это "Штрихи к роману "Грустный беби".

В обеих книгах Аксенов — то очевидец, излагающий реальные факты собственной жизни в мемуарных частях, то романист — в его прозаических фантазиях.

Форма романа в романе в первой книге оправдана. Непосредственное знакомство с любимой Аксеновым Америкой, их первая встреча не могли быть описаны обыденным языком. И переключения из реального плана в фантастический органичны, потому что и реальный-то план был для него нереальным. Кроме того, "Типичное американское приключение" давало Аксенову возможность поиронизировать над стереотипами советских представлений об Америке. Но все вместе — и рассказ Ак-

сенова о себе, и его фантазии (о себе же) слилось в цельное художественное впечатление, главный объект которого — Америка. "Типичное американское приключение" нельзя изъять из текста. Он будет кровоточить.

Двенадцать лет спустя Аксенов продублировал форму первой книги. Однако теперь фейерверк впечатлений сменился их реестром, восторг влюбленности (обаятельный и наивный по определению) — сентенциями (не обаятельными по определению). И главное — сменился объект внимания. Нынче центр книги об Америке, ее стержень, ее ось, ее пуп — этот сам Аксенов.

Дело не только и не столько в личных качествах писателя. Сама ситуация провоцирует его на это. Он оторвался от своей аудитории, не возглавил литературную эмиграцию, не стал знаменитым американским писателем. Для экс-лидера это все факты болезненные. Естественно, что мир сконцентрировался для него на собственном "я".

Впрочем, для литературы это не грех. Важна лишь точка отсчета. Взгляни на себя автор как на тип эмигрантского писателя, блуждающего в поисках своего угла в чужой литературе, как на тип человека, утратившего свою роль, или как на литератора, успешно осуществляющего писательский бизнес, — и его книга могла бы стать значительным явлением. А герой ее мог бы вызвать симпатии, если не как положительный персонаж, то как индивид.

Но "Грустный беби" написан не как роман о себе, а как жизнеописание себя. Аксенов-писатель и Аксенов — герой "Грустного беби" тождественны. В этом его отличие, скажем, хоть от Э. Лимонова. Сколько бы Лимонов ни повторял: "Это я — Эдичка", — читатель никогда не в состоянии до конца поверить, что автор и герой равнозначны. Собственно, только при этом условии автор и становится писателем, а автобиография — романом. При этом неважно число эксгибиционистских фокусов. У Аксенова их вовсе нет. Секрет успеха романа о себе не в них, а в рефлексии — несчастном для жизни, но драгоценном для художника даре.

Аксенов же способен взглянуть на себя не дальше собственных усов и зонтов: "мужчина в "тренч-коуте", в авангарде несущий пучок усов и трубку, в арьергарде — шарф и зонт" (287), — как иронично он сам себя рекомендует. Но уже разглядеть се-

бя в им же самим нарисованном шарже ЗАПа (знаменитого американского писателя) он не в силах. ЗАП, пишет Аксенов, — "такой немножко как бы капризуля... он и сам является персонажем американской литературы. Процент "писателей" из общего числа персонажей — весьма внушительен. Начинающий писатель пишет роман о начинающем писателе. Приходит первый успех и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании" (194). Пардон, а о чем же "Грустный беби"? И не уподобился ли здесь Аксенов гоголевской унтер-офицерше?

На страницах "Грустного беби" возникает целая цепь самопредставлений Аксенова.

Вот он сидит в греческом ресторане в Вашингтоне и читает "Одиссею". Может, он Одиссеей многоумный?

Вот сравнивает себя с набоковским Пниним. (Редкий русский писатель в эмиграции устоит перед искушением помянуть Набокова применительно к себе.)

Вот на стр.283, превращая художественный текст в анкету, перечисляет тридцать три университета, в которых читал лекции. Возможно, что перечень должен показать изгнанному Аксенову Президиуму Верховного совета, "на что он руку поднимал". Но не исключено также, что он рассчитан и на американскую публику, привычную к рекламам, прерывающим передачи.

Вот он обличает советскую власть, говоря о нехватке еды и товаров, об омерзительности пропаганды, и, чувствуя, что не сказал ничего нового, приводит анекдотические случаи с журналом "Плейбой", в частности, рассказывает, как идиот-политрук разорвал на глазах моряков фотографии девочек "в одних лишь сетчатых чулочках". А закончив рассказ, — устремляется на защиту девочек: "Совершалось на самом деле грязное идеологическое надругательство над мечтой моряка" (178).

Вот приходит в студенческую аудиторию, которая слухом не слыхивала о современной русской литературе. "Прошло, однако, не более двух недель" (293), как его студенты сориентировались, удивляя своего педагога глубиной понимания. И педагог не пугается, что столь быстрому созреванию мог способствовать только элемент профанации в его лекциях.

Этот элемент профанации — или мягче — уплощения темы

— присутствует почти во всех суждениях Аксенова. Например, он пишет, что американцы не знают звезд европейского кино и спорта (кстати, почему же только кино и спорта?), и объясняет это американской скукой, которую телевидение пытается развеять показом пожаров, грабежей и всяческих ужасов.

Все это так и не так. В американских кинотеатрах идут фильмы и Феллини, и Антониони, и Эйзенштейна, и Тарковского, и даже Абуладзе. И кинотеатры эти не получают дотаций, так что, если бы не было зрителей, не было бы и проката. Но массовые коммуникации, действительно, не тратят много времени на европейский континент.

Дело, однако, тут не в том, что американцы скучны или надменны, а в том, что Америка — страна самодостаточная. Эта самодостаточность и есть сугубо американский феномен. И будь речь Аксенова речью мужа, он не ограничился бы названием фактов, а попробовал бы их осмыслить. Но, похоже, он остался мальчиком, которому попросту надоели его американские игрушки — все эти "джоггеры", "кары", "феллоуз". Поэтому появляются на страницах "Грустного беби" ламентации и критические замечания в адрес американского общества — замечания, которых не было в его первой книге и отсутствие которых и автор и читатель рассматривали как победу над властью.

Впрочем, и эта роль уже не нужна Аксену. Нынче — как и положено большому западному художнику — он становится в оппозицию к обществу. Не к власти. Властью он как раз доволен. О президенте отзывается с пиететом, посвящает ему несколько страниц и, стараясь найти личную интонацию в рассказе о главе государства, как особое достоинство отмечает, что Рейган похож на его "покойного друга Стасиса, отличного графика и пловца" (134). Читатель, впервые услышав это имя, никогда не услышит фамилии и вообще больше ничего не узнает о Стасисе. Но и Рейган не узнает. Аксенов верен великим принципам американской демократии.

Кроме Рейгана среди многочисленных реальных и сочиненных персонажей лишь в адрес двух сказаны автором сердечные слова. Счастливы, увы, их не услышат. Один из них — покойный издатель Карл Проффер. Другой — покойная тетка писателя. О ней написано всего несколько абзацев, но ее помнишь, как долго помнишь мелькнувшее в толпе симпатичное

лицо. Аксенов ее любит. (Надо сказать, что, будучи писателем более эмоциональным, нежели рассудочным, Аксенов находится в прямой зависимости от чувства. Без чувства его текст и вовсе не дышит.) Все остальные действующие лица — домовладелец или продавец, коллега-профессор или чиновник, представитель элиты ("джетсетер", как он обозначен у Аксенова) или политический деятель, — никто не удостоился портрета — только карикатуры. И самая яркая из этих карикатур, даже блестящая — это ЗАП. Его Аксенов не любит.

Однако, может быть, посмеявшись над псевдоталантами современной американской литературы, Аксенов восхитился ее талантами? Может быть, среди американских писателей нашелся кто-то, кого он любит? Вот же, он сам пишет: "...я полон профессионального любопытства, и на правах члена Американской авторской гильдии я постоянно обзираю уже частично как бы и свое профессиональное поле" (193-194). Действительно, обзирает и даже делает пересадки из прошлого в настоящее, о факте которых, правда, умалчивает. Например, эссе о Стейнбеке и Хемингуэе из "Нон-стоп" перекочевали в "Беби" (см. "Новый мир", с. 116-118; "Грустный беби", с. 187-192).

На этом тема современной американской литературы оказалась исчерпанной, то есть сведенной к явлению бессмысленному — к ЗАПу. Ведь и Хемингуэй и Стейнбек — это прекрасный, но уже вчерашний ее день.

Эмигрантской литературе по количеству имен повезло больше. На стр.264 названо около двадцати литераторов, приехавших в Вермонт учить американских студентов писательскому мастерству. По воле руководителей школы в одной упряжке оказались и графоман Моргулис и Виктор Некрасов.

Но Аксенова никто не неволил. И то, что в картине эмигрантской литературы не нашлось места ни для Владимова, ни для Войновича, ни для Синявского, в том, что в ней отсутствуют имена Бродского, Горенштейна, Довлатова, Зиника, Лимонова, Львова, Хазанова, то есть всех, кто составляет ее цвет, — есть не столько авторское право, сколько авторский произвол.

Лишь Саше Соколову относительно повезло на страницах "Грустного беби", да мелькнул Юз Алешковский в качестве собутыльника и автора шашлыков.

Боюсь, что аксеновское умолчание — это умолчание недоброжелателя, а его ирония — это ирония "деклассированно-

го” писателя, уже как бы покинувшего пределы русской литературы, но еще не вступившего полноправно в пределы американской.

Тогда какую же роль он играет? От чьего имени говорит? К чему стремится?

Об одном стремлении уже было сказано выше — стать американским писателем, точнее, занять в американской литературе то положение, какое он занимал в советской. Есть и другие. Например, достичь уровня жизни американского среднего класса.

Аксенов не человек богемы, и ради своего искусства он не готов ходить в обносках. Ради своего искусства он готов ходить в смокинге, хотя ”приобретение одного — шаг, возможно, не менее серьезный, чем эмиграция” (182) — как шутливо говорит он сам. (Кстати, самоирония Аксенова — тоже явление небезынтересное; она появляется всякий раз, когда он чувствует собственное превосходство — неважно над кем — над своими студентами, над коллегами или над товарищами по эмиграции. В данном случае чувство превосходства основано на том, что мало кто из русских писателей-эмигрантов смог достичь материального благополучия на уровне ”мидл-класса” и войти в общество, где носят смокинги.)

Статус респектабельного человека — а именно таков представитель наиболее высокой ступени ”мидл-класса”, влечет за собой неизбежное знакомство с финансовой стороной жизни в Америке, а на страницы книги приводит новую лексику. К уже давно трясущимся ”джоггерам” и проч. прибавились ”моргеджи”, ”кеш флоу”, ”трансекшин” и т.д. — термины, связанные с банковскими операциями, покупками недвижимости, денежными вкладами.

Все эти слова непонятны русскому читателю, живущему за пределами англоязычных стран. Между тем в переводах, допустим, романов Драйзера, для них найдены русские эквиваленты. Но в том-то и дело, что в тексте Аксенова они и должны оставаться непонятными, чтобы воспроизвести ощущение полной беспомощности автора в дебрях капиталистической экономики. Эта беспомощность более всего будет отвечать вкусам читателей метрополии и их убеждению, что деньги и искусство — две вещи несовместимые; американцы же, которым эта терминология понятна, скорее всего будут видеть в авторе чудако-

ватого и обаятельного русского, для которого "фондовая биржа до их пор является самым загадочным американским институтом" (122).

Так, шаг за шагом вырисовывается двойной автопортрет Аксенова. Один — для американского читателя. Другой — для русского.

Этот двойной автопортрет дан "в интерьере". Подразумевается, что все многообразие Америки нашло отражение в книге. Действительно, как уже говорилось, Аксенов уделил внимание и литературной, и финансовой, и политической жизни страны. Не остались забыты ни расисты, ни эмигранты, ни пацифисты, ни феминистки.

И всякий раз, подытоживая тему, Аксенов делает выводы, которые, помимо прочего, и волков должны насытить, и овец сохранить, то есть обличить советскую систему и восхвалить Запад.

"Всегда у нас считалось, — пишет он, — что декадентная западная цивилизация является в мире главным источником греха... Советские люди в этом глубоко убеждены, что, впрочем... не отталкивает их... а, напротив... является дополнительным, а иногда и основным соблазном... Признаюсь... у меня сложилось впечатление, что основным источником декаданса и блуда является "третий мир"... Западная цивилизация, особенно в ее англосаксонской форме, является по сути дела последней фортецией здравого смысла"(113).

О каких советских людях идет здесь речь? О тех, что в отличие от американцев знают Феллини? Или о тех, что, как и американцы, его не знают? В этом контексте понятие "советские люди" теряет синкретность. И что означает это сочетание декаданса и блуда? Декаданс — как закат? Но при чем тут тогда блуд? — явление из другого ряда, не декадентского. "Блудливый декадент" — сатирический образ, а Аксенов далек в этом тексте от сатиры. Или, может быть, декаданс понят здесь как загнивание? Но эта трактовка очень близка к советской. И почему такое предпочтение "англосаксонской формы цивилизации" (да и что это такое)? Потому что в Париже французский официант был невежлив с Аксеновым? (см.с.40).

Право, от таких сентенций и волки сдохнут, и овцы вымрут.

Приведенный текст выписан мной только с одной страницы. Но примеры можно умножить.

"Там (в СССР, — А.К.), — говорит Аксенов, — трата денег, щедрые покупки, скажем, или гульба в ресторане, всегда является чем-то не очень пристойным, каким-то щекотливым делом, здесь трата денег — почтенное и общественно полезное занятие" (124).

Это умозаключение потрясет в равной мере и капиталиста и коммуниста. Щедрость — прекрасное свойство души, поскольку обращено к ближнему, для которого и делаются "щедрые покупки". Аксенов, вероятно, имеет в виду склонность к приобретательству. Что касается "гульбы в ресторане", то здесь, видимо, подразумевается деловой обед. К нему (а не к гульбе) американец действительно относится серьезно.

Я опасаясь комментировать все умозаключения Аксенова. Это сделало бы статью утомительно однообразной. Приведу лишь еще несколько фраз, в комментариях не нуждающихся.

"...стрельба из лука является здесь наиболее популярным видом спорта" (286).

"В отличие от всех других основных языков мира... русский язык является языком только одного государства" (294).

"Я начинаю понимать, до какой степени американская литература является чисто американским... делом" (187).

О, да! Но, кажется, и русская литература перестала быть делом Аксенова.

В "Грустном беби" бессчетное количество стилистических нелепостей. Так, на стр.110 — родился со всеми признаками "негрипода" Гелий Коновалов. (Не путать с негрипоцем, что было бы понятно, хотя и неприлично). На стр.271 — Владимир Фрумкин активно знакомит студентов (в том числе и при помощи собственного исполнения) с творчеством современных советских бардов". На стр.280 — калька с английского: "мой женский друг" — должна означать юмор. На стр.311 — появляется интеллигент, который "снял шапку и вытер ею потное лицо", — хотя именно у интеллигента для этого есть носовой платок. На стр.283 — бродит "корова иронии", для которой на университетских кампусах найдется хорошее пастбище.

Я не буду продолжать этот список, но, стремясь написать статью, хоть в какой-то мере соответствующую моему герою,

скажу, что для слона критики в книге нашего мужского друга Аксенова остались еще пастбища, которые можно вытоптать, и таким образом активно познакомить читателей (в том числе и при помощи собственной статьи) с творчеством современного мидл-классика Аксенова — как определил писателя автор обложки к "Грустному беби" Вагрич Бахчанян. Однако после такой речи мне необходима шапка Аксенова, чтоб утереть взмокший лоб.

Пренебрежение к слову сочетается у Аксенова с постоянными разговорами о языке. Так, на стр.28 появляется шутка: "Таксист высунулся в окно и заорал на чистейшем ВМПС, то есть на великом-могучем-правдивом-свободном, как мы вслед за Тургеневым называем наш русский язык". Аксенову так нравится собственная шутка, что он повторяет ее и на стр.167: "...так обстояли дела в нашем "великом-могучем-правдивом-свободном" (как в свое время прокламировал русский язык Иван Тургенев, что дало нам возможность соорудить довольно удобный, хоть и напоминающий слегка военно-морские силы акроним ВМПС)". И еще раз на стр.265: "...в двух вермонтских городах... собираются несколько сот американских студентов, одержимых идеей овладеть "великим-могучим-правдивым-свободным", то есть ВМПСом имени Тургенева".

Не я, не я, дитя, твой лиходей! Лишь по долгу критика, а не по доброй воле цитирую я тут эту тяжеловесную шутку столько раз и тем не менее, боясь наскучить читателю, все же не рискую привести другую, тоже повторенную — и даже не три раза, а четыре (см.с.8, 181, 231, 234).

Но кто знает? Может быть, права моя пятилетняя приятельница, воскликнувшая в аналогичной ситуации: "Ну, где же я возьму тебе другую шутку?!"

Однако "джоукс" в сторону, как сказал бы Аксенов. Куда более важно понять, откуда взялись в писательском, в литературном тексте эти канцеляризмы, этот стиль бюрократа, который должен придать своему тексту некую глубокомысленность и который невольно демонстрирует в этом занятии редкостное единство формы и содержания?

Воспитанный отечественной традицией, где каждый намек на пороки системы рассматривался как подвиг (да и был зачастую подвигом), где читатель привык к недомолвкам и эзопу языку, а расшифровав его, чувствовал себя оппозиционе-

ром, фрондером, тайным диссидентом, Аксенов, обращаясь к западному читателю, в сущности не знает, что ему сказать. О жизни Запада он судит лишь как поверхностный наблюдатель. Его визуальный опыт, хотя бы в силу недолгой жизни в Америке, еще не может быть творчески осмыслен. Для такого осмысления нужны десятилетия (разумеется, не одному Аксенову, — вообще писателю-эмигранту). Готовность соответствовать вкусам западного читателя тут мало чему помогает. Она лишь влечет бедность и бледность. Если не самого писателя, то его мыслей.

А от своего русского читателя Аксенов практически отказался. Он его интересуется постольку поскольку. Как иначе объяснить все эти свидетельства неуважения: куски из "Нон-стоп", обильное самоцитирование (см. например, с.307-308), пренебрежение языком, изложение фактов советской жизни, хорошо известных как в эмиграции, так и в России? Измена, однако, привела Аксенова к утрате писательского мастерства.

Но ведь не только Аксенова! Признаки подобной деградации обнаруживаются и у других эмигрантских писателей, стремящихся найти в западном читателе свою публику и пытающихся на все лады ей понравиться. Не есть ли это действительно выступление на панели?

На этом в статье об одной из тенденций эмигрантской литературы можно было бы поставить точку. Однако портрет самого Аксенова требует еще нескольких абзацев. Они придут портрету законченность.

Есть категория людей, к которым Аксенов относится с особой симпатией. Это его критики. Хотя из трех приведенных Аксеновым отрицательных отзывов о его творчестве, все три принадлежат американцам, тем не менее все они так или иначе сопровождаются эпитетом "советский". Вообще, все, что Аксенову не нравится, — имеет при себе этот эпитет. Ну не сын ли он (хоть и блудный) своего отечества, где в аналогичной ситуации всегда присутствует эпитет "капиталистический"?

Более других досталось критику одного из серьезных американских журналов. "Не так давно, — пишет Аксенов, — в журнале "Комментари" некая писательница Фернанда Эберстадт... представила общественности ядовитый разбор моего романа "Ожог", сопровождаемый еще более ядовитым жизнеписанием автора.

В лучших традициях советской литературной "коммуналки" Фернанда поведала читателям некоторые неблагоприятные факты моей биографии...

"После того, — пишет она (Эберстадт, — А.К.), — как Аксенов в 1963 году лицемерно покаялся в "Правде", он в течение двадцати лет наслаждался благоволением Кремля и беспрепятственными поездками за рубеж, в том числе в 1975 году в Калифорнию"...

"Тут очень много неправды, — возражает Аксенов. — Во-первых, с 1963 года ("покаяние") до 1980-го (высылка и лишение гражданства) двадцати лет явно не прошло, во-вторых, в течение этого периода я, по крайней мере, три раза на многолетние сроки становился "невъездным", даже в Польшу тогда не пускали, гады!

Что касается поездки 1975 года в Калифорнию... то за эту поездку я "бился" едва ли не целый год, писал бесконечные заявления, ходил на приемы к разным "булыжникам" и даже инсценировал что-то вроде истерики в секретариате Союза писателей с криками: "Я вам не крепостной мужик!" Так или иначе, — каюсь, Фернанда! — я и в самом деле провел тогда два месяца в США... Прости еще раз Фернанда" (324-325).

Ну что ж, умен Василий Мученик — ничего не скажешь. Да и считает лучше госпожи Эберстадт...

Так, глядишь, и от меня отобьется, заявив публично, что мои "писания", как и "писания" критика "Комментарии", "словесный блуд" (325). Но мысль куда более страшная приходит мне в голову — а что если Аксенов задастся вопросом: "Ужель он прав, и я не гений?"?



А. Сияновский, Ю. Даниэль

ДИАЛОГ

В Москве 30 декабря умер мой друг, русский писатель Юлий Даниэль. Сколько раз наша дружба подвергалась проверке, изобретательным испытаниям: и в нелегальном писательстве, когда мы с ним, соборившись, тайно переправляли на Запад рукописные тексты, и на допросах в КГБ, и на скамье подсудимых, и в лагере, и в эмиграции. В трудную минуту он первым бросался на помощь. Щед-

Я не хотел бы умереть внезапно. Это не значит, что я предпочел бы длительное и болезненное умирание. Нет, я предпочел бы знать о близкой смерти эдак недели за две, за три, чтобы успеть попрощаться с жизнью и с людьми, успеть примириться с уходом.

Я думаю, что именно внезапность смерти, неподготовленность к ней была причиной растерянности, страха, морального срыва у многих погибших внезапной насильственной смертью. Избави Боже, чтобы я осуждал их за это — ведь это естественно. И вина не на них, а на их убийцах: палачи отнимали у своих жертв не только жизнь, но и достойное завершение ее. И не надо, не надо приукрашивать поведение человека, за-

-рость и смелость были в его натуре. Как часто он меня выругал!.. Много лет я с ним советовался обо всем на свете и вел яростный разговор, ставший впоследствии мысленным сопровождением жизни.

... А помнишь, Юлька, ты читал нам рассказ про кота, в которого превратился секретарь райкома? Хороший был кот. Пушкинчик. Из него собирались шапку шить. А помнишь фразу из твоей повести о дне открытых убийств?

" — Заваб убьем Павлика.

Я прокашлялся и сказал:

— Уходи.

Она не поняла.

стигнутого врасплох. Мне омерзительно читать стихи и прозу о том, как гордо умирал Гарсиа Лорка. Ведь его убили, не дав ему осмыслить — для себя — смерть, не дав ему примерить ее к себе — смерть, о которой он столько писал. Рассказ о том, как он изящно шествовал к месту казни, срывая по дороге цветы и фрукты, как-то реабилитирует убийц, снижает степень их подлости.

Мне приятней было бы жить сейчас, если бы я знал, что уйду из жизни постепенно, спокойно, благообразно. Что ж, может, так оно и будет. Мне ведь всю жизнь везло, почему бы не повезти и с финалом? (см. Т.Готье)

А еще мне не хотелось бы, чтоб меня кремирова-

- Куда?
- К горгу..."

Потом, на суде, ты замечательно сказал, что всё это не клевета, а художественное преувеличение. Гиперболой называется. И еще, среди прочих, врезалась фраза из повести: "Газеты - газетам, а совесть знать тебе надо". На суде, по тому же поводу: "... Каждый член общества отвечает за то, что происходит в обществе. Я не исключаяю при этом себя".

У Дамьеля - и в жизни, и в писательстве - было редкое губство обще-

ли. Веселей думать о том, что будешь похоронен, что будет у тебя могила и камень и что, может статься, кто-нибудь придет "кудри наклонять и плакать". Или присядет покурить, как я когда-то присел на могильную плиту на кладбище Донского монастыря. Я курил, поглядывал вокруг и вдруг прочел надпись на плите, на которой сидел: "П.Я. Чаадаев". Может быть, ему, если он видел, было приятно, что я вскочил и стал смахивать папиросный пепел со старого камня?

Я не верующий и не атеист. Я просто ничего не знаю и поэтому допускаю любые варианты. Но с детства у меня вызывала недоумение формула тургеневского Базарова: "Умру — ничего не будет — лопух вырастет". Как же так — "ничего не будет"? Лопух-то вырастет! Отличный, большой лопух, который сорвет простоволосая женщина и покроет им голову от солнца.

жизнь с любовью, братское отношение к людям. Он писал об этом содружестве: "Это - твой мир, твоя жизнь, и ты - клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим - ты в ответе за других".

И негромким гулом неосознанного согласия отвечала тебе Москва.

Повести Даниэля "Говорит Москва", "Искупление" преподносят нам - сообщество людей. В этом его парос. Он был другом большого сообщества. О том же гласят его стихи: "Врунзы имена, как жемчужины, как четки

Как странно, что я, дожив до своего возраста, только один раз видел медленную смерть. Смерть на фронте — не в счет. Она была мгновенна и она не была таинством. Это был быт войны. Медленную смерть я видел в куйбышевском госпитале, в нашей палате умирал мальчик-солдат, лет девятнадцати, из Узбекистана. У него была ампутирована нога, вся, целиком, вынута из таза. Он был очень слаб, и у него началось воспаление легких. Недели за полторы до смерти он научился говорить по-русски, и врачи разговаривали с ним через переводчика — приглашали его земляка из другой палаты. Нет, это не было спокойной смертью, хотя он не кричал и не стонал. Задолго до конца он уже ушел в свой мусульманский рай и вкушал блаженство с гуриями, к которым в своей земной жизни так и не успел прикоснуться.

перебирает". Даже в последнем слове на суде Юлий Даниэль говорил: "А здесь люди — и в зале сидят люди, и за судебным столом тоже люди".

Я бы так не сумел: и в зале, и за судебным столом сидели тогда палачи. Но и в лагерном вертухае Даниэль старался увидеть бедолагу:

Эй, на вонке! Мальчишка на вонке!
Как с тобой случилась беда?
Ты же заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как приехали сюда...

Люди — все люди — в Юлии Даниэле потеряли верного друга.

Андрей Синзвский

31 декабря 1988

Много лет спустя, в лагере, я видел такие лица, отрешенные, сосредоточенные, со слабой улыбкой, у тех, кто был "под кайфом", накурившись анаши или наевшись кодеина.

Смерть. Почему она женского пола? Даже когда по языку смерть мужского рода — как, например, по-немецки "der Tod", — изображают ее всегда женщиной, старухой в развевающихся одеждах. А почему не стариком? Почему гибель, конец ассоциируется всегда с женским началом? Даже в непристойном российском выражении, обозначающем смерть, катастрофу, фигурируют именно женские половые органы. Казалось бы, женская сущность, жизнетворящая, детородная, не должна была бы давать языковой стихии повод для этого. Ан нет. Смерть — женщина. Но, может быть, и в

Европе было время, когда Смерть была не скелетом со страшной косой и даже не равнодушной Паркой с ножницами, а Матерью.

Матерью, Старшей Сестрой, Женой? И в отождествлении ее с Женщиной были вера, надежда и любовь? И не "земля есть и в землю отыдеси", а ощущение добрых рук, колыбели, ласки?

Смерть. Я думаю о ней все больше и больше. И не то, чтобы я чуял ее близость. Нет, этого я не чувствую и не знаю, какой мне отпущен срок. Просто я с годами стал понимать, что смерть есть часть жизни и роптать на нее можно не в большей мере, чем на жизнь: плохая жизнь заслуживает нареканий, и плохая смерть — тоже; хорошая жизнь вызывает благодарность, и хорошая смерть... "Хорошая смерть"?..

Ю. Даниэль



Милый Юлька! Как это грустно и смешно изобразить "писательство", сидя в доме, где тебя уже нет. Перед телевизором. Для поста. Не знаю, как все это расписать. Но ты — в воздухе, ты в сердце и на уме. Невеселый кордебалет, в твоём духе. Смесь гротеска и поречи.

Москва

4 января 1989



Синявский и Даниэль несут свою скамью подсудимых (шутка 66-го года).
Похороны Пастернака. Переделкино, 1960.

Yuli Daniel, Soviet Dissident Writer, Dies

The Associated Press
MOSCOW — Yuli M. Daniel, a dissident, satirist and poet whose conviction in 1966 for publishing anti-government writings marked the beginning of a down on dissent, died of a heart attack at his home Friday, his first wife said.
 Daniel had suffered several heart attacks in June, then he got better," said Larisa Bogoraz, a veteran Soviet dissident movement leader. Mr. Daniel's wife when he was sentenced to five years in prison labor camp.



Yuli M. Daniel

His most famous work was "This Is Moscow Speaking," a short story about an officially sanctioned day of murder throughout the country in which only police officers and transportation workers were off limits.
 After the trial, prominent Soviet intellectuals and Communist Party members around the world pressed dismay.

Proudly, a Soviet Dissident

Young Writers
 Lisa Foderaro
New York Times Service

trial and Mr. Daniel's five years at forced labor camps months after Nikita S.

ature, refused to plead guilty to the charges of disseminating anti-Soviet propaganda, arguing that

By BILL KELLER
Special to The New York Times

MOSCOW, Jan. 2 — Yuli M. Daniel was hurried and eulogized today in a bleak, a searing cold day, a day as cold as a prison camp. It was the sort of day that a man at the graveside observed, that

long-denied visa to visit the Soviet Union for the first time since he emigrated to France in 1973.
 Today Mr. Daniel's body was deposited in a yellow school bus to Vaganovskoye Cemetery, the venerable resting place of other strong-willed nonconformists including the Russian poet Vladimir Mayakovsky, the Russian poet Sergei Yesenin and several of the 19th-century army officers

А. Френдли

СПОКОЙНАЯ СОВЕСТЬ ЮЛИЯ ДАНИЕЛЯ

Когда в конце этого года в Москве скончался Юлий Даниэль, он был уже на полпути к возвращению или к тому, что в Советском Союзе называют "реабилитацией". После более чем двух десятилетий замалчивания его имя и его произведения стали появляться в печати. В советских журналах напечатано несколько стихотворений Даниэля и даже "Искупление" — один из тех четырех рассказов, опубликованных на Западе под псевдонимом, из-за которых в 1966 году его осудили на пять лет лагерей за антисоветскую пропаганду и агитацию.

Преступление Даниэля состояло в неконформистском образе мышления и литературном таланте, с помощью которого он этот образ мышления выражал. Как и его жизнь (в том числе признание, которое он не успел почувствовать), его стиль был полон иронии. Но основным содержанием того, о чем он писал и что переживал, всегда была очень простая идея, высказанная им однажды:

"...человек должен всегда оставаться человеком, независимо от обстоятельств, в которые он попадает, и независимо от давления, которое на него оказывают. Он должен оставаться верным самому себе и только себе и отвергать все, что отвергает его совесть, идет против этого человеческого инстинкта..."

Юлий Даниэль не был самым ярким выразителем этого

"*Вашингтон Пост*", 3 января 1989 г. С любезного разрешения газеты.

URSS L'adieu à Iouli Dan

elage.
chapka.
sage de ta
meurtres

On a Harsh Day, a Harshly Treated Poet Is Buried in Moscow

By Bill Keller
New York Times Service
MOSCOW — Yuli M. Daniel was buried and eulogized Monday on a searing cold Moscow day, a prison-camp-cold day, the kind of day, one man at the graveside observed, that Russia seems to reserve for the funerals of its bravest inmates.
Mr. Daniel, who...

Le poète vendredi (le 2 janvier), devant lundi 2 janvier à Moscou, Siniavski, qui fut son dans le procès de 1966.

... Russia as the awakening of the political consciousness, as a warning that even today's seeming freedoms are fragile, and yet as evidence even the cruelest state has no weapon against humor.
"The arrest u...

идеала в советской литературе, как и не был первым, пострадавшим за него. Но он и Андрей Синяевский, его коллега и по-дельник по печально известному процессу, были первыми, в защиту которых выступили и пострадали.

Их арест стал началом движения за права человека, движения, взявшего на вооружение лозунг гласности и нарушившего табу закрытого общества, чтобы открыть глаза запуганным гражданам. Для горстки свободомыслящих людей, пришедших 10-го декабря 1965 года на Пушкинскую площадь протестовать против ареста писателей Синяевского и Даниэля, гласность означала открытое судопроизводство — юридическую концепцию, принятую в 1864 г. Александром II в его законодательных реформах. Для переодетых сыщиков, разогнавших митинг, это слово не имело никакого значения. Важным и опасным был сам факт неразрешенной демонстрации.

Она оказалась первой из многих. А Александр Гинзбург, собравший и опубликовавший на Западе материалы о суде над двумя писателями, стал первым, попавшим в тюрьму по "закону домино" — за то, что вступился за других. Несмотря на это, движение постепенно усиливалось и расширялось в советском обществе и оказывало влияние на отношения между Западом и Востоком.

В лагере Даниэль познакомился с молодыми ленинградцами, осмелившимися выпускать марксистский журнал, с националистами Украины, Прибалтики и Грузии, верующими и диссидентами. Он участвовал в протестах против произвола лагерной администрации — скорее из-за своей порядочности, а не

Siniavski a reçu un vis à Moscou

En juillet dernier, le
journal a publié plusie
Daniel, victime
cardiam



The poet and satirist Yuli Daniel, whose work was officially recognised in the Soviet Union only last July, died in December 1988, aged 63. He whose potential was perhaps realised, although his right to free taken on a rememb

with sign in wh impris Danie highlighte Moskva ('M declared the citizens are free to a policeman or a p Not one of the chara Daniel AMNESTY INTERNATIONAL writi

какого-то мятежного духа. За смелость его наказали заключением во Владимирской тюрьме на последние 18 месяцев срока.

Заключение Синявского и Даниэля стало причиной медленного пробуждения у советской интеллигенции отношения к послесталинскому Гулагу. Благодаря этому обнаружилось существование политических лагерей, которые Н.Хрущев якобы упразднил.

К моменту возвращения Даниэля в Москву в 1970 году диссидентское движение выросло и укрепилось. Юлий, походивший на актера Чевы Чейса, не вступил в ряды активистов. Он вернулся на свою плохо оплачиваемую работу, переводя таких поэтов, как Роберт Бернс, причем его переводы публиковались под чужим именем. Он вторично женился — на милой и талантливой Ирине Уваровой, специалисте по театру и прикладному искусству.

Однако он никогда не изменял своим убеждениям. Когда в печати — советской ли, или эмигрантской — появлялись нападки на его друзей (Синявского, Гинзбурга), Даниэль выступал в их защиту в западной прессе, рискуя при этом потерять даже анонимный заработок.

Он был малоизвестен, когда его арестовали, и почти забыт, когда он умер. Однако он выходил за рамки своего времени и своей страны. Когда новый выводок московских переписывателей истории, вдохновленный гласностью, будет заполнять очередные, указанные М.Горбачевым, "белые пятна", то они должны будут отвести Даниэлю почетное место, которое он заслужил своею совестью и отвагой.



В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

Когда я вспоминал об этом рассказе, мною овладевало чувство неловкости. Вроде бы я что-то задолжал юстиции. В самом деле: пять лет заключения – не слишком большой (по нашим масштабам), но все-таки не такой уж малый срок. А припаяли мне его за две небольшие повестушки и за два рассказа, из которых один – совсем крохотный. Во время следствия и на суде я все время чувствовал эту свою непорядочность: мог бы и побольше дать материала судьям – за пять-то лет гонорара. С другой стороны, я не так уж и виноват. Рассказ этот я не прятал, открыто читал его в больших и зачастую полузнакомых компаниях, все пять лет моего отсутствия он мирно пролежал на книжной полке, и, право же, у меня не было возможности придти из Лефортовской тюрьмы домой и вручить его милейшему подполковнику Кантову, старшему следователю КГБ. Пришлось ему, бедняге, расспрашивать об этом рассказе свидетелей. Из свидетелей же только один указал, что это "злобный антисоветский пасквиль", а остальные уныло бубнили: "Да так, юмористический рассказ, смешной пустячок..." Может быть, и так – не мое это дело заниматься литературоведческой классификацией по УК РСФСР. Но мне все-таки хочется его опубликовать – по соображениям отнюдь не литературным или, упаси Боже, политическим. Нет, просто я люблю симметрию, которой не было в моем приговоре. Я бы за четыре произведения дал бы четыре года, по году за штуку. Это было бы и справедливо, и красиво. А то как-то нескладно: произведений четыре, а лет-то ПЯТЬ! Так вот, я и хочу восстановить эстетическое равновесие. Тем более, что расходов никаких: рассказ я написал уже двадцать лет назад и давно отсидел свои пять лет. Правда, тогда, двадцать лет назад, я требовал со своего друга литр водки за то, что допишу этот рассказ, и получил его, и выпил; но не будет же закон настолько мелочен! К тому же, и водка тогда стоила дешевле...

1.

Василий Сергеевич Гайдуков, первый секретарь Ново-Опощенского райкома партии, был человеком образованным. Он окончил сельскохозяйственный техникум и два курса пединститута. Кроме того, в свободное от работы время он читал

художественную литературу и мог в официальных докладах и выступлениях цитировать классиков. За это его всегда хвалили в обкоме и ставили в пример другим партработникам, не расширяющим всемерно свой кругозор. И самое главное — он овладел методом, и это давало ему возможность предугадывать события и представлять себе их ход — в районном, конечно, масштабе. И вот теперь он с ужасающей отчетливостью понимал, что произойдет утром, если обстоятельства, в которые он попал, не переменятся. Но на это никакой надежды не было. Чудес на свете не бывает. Он как последовательный материалист твердо знал это. И главное — ключ, ключ! Он оставил его в замочной скважине с внутренней стороны двери. Утром придет тетя Клаша подметать кабинет, поднимет шум, вызовут органы... Василий Сергеевич мысленно застонал и, еще отчаянней вцепившись когтями в ветки яблони, покосился на собак, дружно бесновавшихся внизу. Надеяться было не на что...

2.

Тетя Клаша, действительно, подняла тревогу. Произошло это так: она, как всегда, явилась на работу к семи часам утра и, не найдя ключа от кабинета у дежурного, поднялась на второй этаж двухэтажного здания райкома. Деликатно — костяшками пальцев — постучалась в краешек обитой черной клеенкой двери. Василий Сергеевич не отзывался. Тетя Клаша постучалась еще раз, настойчивей, громче. Ответа не было. По-прежнему не удивляясь, уборщица забарабанила кулаком. Нет, Василий Сергеевич, как видно, спал беспробудно. Тетя Клаша присела на корточки, глянула в замочную скважину и ничего не увидела. В двери торчал ключ. Тогда она вздохнула и, волоча за собой швабру, снова спустилась вниз. Оставалось еще одно средство добудиться Василия Сергеевича — позвонить ему снизу по телефону. Он просыпался мгновенно, и тогда тетя Клаша могла проникнуть в кабинет. Правда, в этих случаях он всегда очень сердился. Она осторожно обогнула спящего дежурного и сказала в трубку:

— Але! Первого секретаря мне дайте. Але!

Василий Сергеевич и тут не отозвался. Тетя Клаша испугалась. Она живо растолкала дежурного и сообщила, что "Василь Сергеевич к аппарату не подходит". Подобно своему начальнику,

она называла телефон "аппаратом"; а он, в свою очередь, говорил так потому, что это слово напоминало ему героические времена революции; сам он, правда, в революции не участвовал; ему тогда было всего восемь лет, но все же...

— Может, он домой спать пошел? — непочтительно предположил дежурный.

— Какой там — домой! — рассердилась тетя Клаша. — Они вчера полночь заседать кончили. Да и ключ-то изнутри торчит...

Услыхав про ключ, дежурный тоже испугался. Поеживаясь от недосыпа и возбуждения, он быстренько соединился со вторым секретарем — и минут через двадцать все районные власти, от начальника МГБ до председателя Райпотребсоюза, толпились в нешироком коридорном тупичке, ведущем к кабинету первого секретаря. Все были одеты аккуратно, по форме, неофициально одобряемой свыше: кителя, галифе, сапоги, белый полотняный или — у холостяков — желтоватый целлулоидный воротничок. Все вполголоса переговаривались, часто повторялось порхающее слово "гипертония". Каждый уже прикидывал мысленно, как, вернувшись домой, попивая чаек, заслуженный хлопотами сегодняшнего утра, он будет живописать: "...входим... на диване... одна рука свесилась... как живой... вчера только... как он Красовского... досталось Красовскому..." Гений сенсаций носился над собравшимися, задевая прозрачными стрекозиными крылышками вдумчиво приветливые лица на портретах. Портреты были разного возраста: одни уцелели еще с двадцатых годов, другие заняли освободившиеся вакансии. "Мертвый, в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий".

Только один человек помалкивал в этом всеобщем тихом ажиотаже. Это был второй секретарь райкома Вячеслав Афанасьевич Медынский. Телефонный звонок оторвал его от обычных утренних радостей. Он был фантазер и, несмотря на суровую внешность, имел душу нежную и ум, склонный к мечтательности. Еще в конце войны, будучи замполитом трофейной роты, он вместе с друзьями-офицерами просмотрел немецкую киноленту. Это было ревю — тридцать две девушки, неторопливо и ритмично раздевающиеся под приятную джазовую музыку. Это зрелище покорило душу Вячеслава Афанасьевича. Он, конечно, был далек от мысли изменить родине, но часто с

тех пор, тихо радуясь, представлял себя директором-распорядителем и режиссером такого вот ревю. С годами эти тайные мечтания вошли в привычку, и он, лежа по утрам в постели, тепленький, дергая коленями под простыней, создавал новые, невиданные Европой программы. В это достопамятное утро он обдумывал костюм солистки. По замыслу Вячеслава Афанасьевича, она должна была, как бы в неистовстве, рвать на себе одежду: но приобретать или шить для каждого представления новый комплект — невыгодно, неэкономично, и директор-распорядитель колебался между двумя вариантами: либо сметывать платье "на живую нитку", либо в места имеющего быть разрыва вставить молнии. Оба варианта имели свои достоинства и свои недостатки. Например: сшивать каждый раз платье хлопотливо, а молния не даст нужного звукового эффекта. Кроме того, следовало обдумать и идейную нагрузку номеров. На этих-то размышлениях его и застал телефонный звонок. Будучи приучен Гайдуковым к жизни почти походной (бдения и ночные вызовы были любимым стилем Василия Сергеевича), Медынский живо собрался и "на одной ноге" ("ноги в руки", "одна нога здесь, другая там" и т.д.) примчался в райком. Теперь он стоял в коридоре вместе с другими и напряженно думал: "Он — первый, я — второй... Пришлют или утвердят? Первый — второй..."

Слесарь наконец открыл замок. Не переступая порога, Медынский первым заглянул в кабинет — все понимали, что это тяжелое, но почетное право принадлежит ему. Он заглянул в кабинет и, побледнев, обернулся к собравшимся: в кабинете никого не было.

3.

А между тем, первопричина всего этого переполоха была довольно-таки заурядной. Дело обстояло так: бюро райкома затянулось накануне почти до часу ночи — обсуждалось поведение коммуниста Красовского, директора Дома Культуры. В нетрезвом виде он скупил в раймаге весь оказавшийся на полках "Суп гороховый", и, нагрузив этим быстрорастворяющимся концентратом своих подопечных — струнный оркестр народных инструментов, — повел их к себе домой. Оркестран-

ты не могли, конечно, знать, что, приняв от них покупку и выставив их за дверь, жена Красовского наотрез отказалась немедленно варить суп, как этого требовал муж, и выразила твердую уверенность в том, что это "дерьмо" и свиньи есть не станут. Слух же о необычной покупке распространился молниеносно и вызвал сперва замешательство в умах граждан, а затем — целенаправленную панику. Василий Сергеевич не удовольствовался тем, что вызвал к себе Красовского и "дал ему прикурить" — нет, он срочно собрал бюро и объяснил некоторым легкомысленно отнесшимся к происшедшему товарищам всю пагубность поведения Красовского. Один аргумент в особенности заставил всех призадуматься:

— А что, товарищи, — сказал Василий Сергеевич, — что, если бы у нас в Ново-Опрощенске находился бы в это время иностраный корреспондент?! Вы понимаете, какая это находка для врага? Сейчас бы он своим аппаратом — щелк! — и в блокнотик!

— Аппараты они в пуговицы вделывают, — произнес кто-то.

— Не в этом суть, — отмахнулся Гайдуков. — В пуговицу или, скажем, в зажигалку — так тоже бывает. Я предлагаю...

Красовскому дали "строгача", а в решении записали: "Рекомендовать номенклатурным работникам по возможности водерживаться от покупок прод- и промтоваров в торговой сети, а придерживаться обычных каналов снабжения..."

Итак, заседание закончилось поздно. Выпроводив членов бюро, Гайдуков остался один в своем кабинете. Он неторопливо и вдумчиво собрал бумаги и запер их в сейф. Потом сел на диван, расстегнул воротничок кителя и некоторое время сидел неподвижно, оглядывая комнату; взгляд его остановился на пальто и ушанке, висевших у двери. "Пора домой, — сказал он негромко. — Заработался". Он встал. "Заработался я, — повторил он с несколько иной интонацией, потоптался в нерешительности между дверью и столом, затем, махнув рукой, закурил папиросу и стал быстро раздеваться. Раздевшись донага, он отпер сейф, аккуратно сложил одежду на свободную полку и, снова заперев замок, сунул ключ под сейф. Не торопясь подошел к окну, вернулся, положил папиросу в пепельницу, выключил свет и обернулся котом. Затем он мягко и бесшумно вскочил на подоконник. Из окна дуло. "На завтра вызвать сте-

кольщика — сказать завхозу”, — подумал Василий Сергеевич. Свет от фонаря перед зданием райкома осветил его. Он был крупный темносерый кот с рыжими подпалинами в паху и на боках. Встав на задних лапах во весь рост, он свободно дотянулся до задвижки форточки; секунду спустя он уже осторожно, лапа в лапу, след в след, шел по карнизу второго этажа. Обогнув дом, он спустился на крышу сарая, а оттуда на землю. Перепрыгнув через невысокий забор, он очутился в райкомовском саду. Здесь он стал гулять.

Конечно, жителю столицы или даже крупного промышленного центра может показаться неправдоподобным описанное выше превращение. Теплые отдушины метро, чопорный массив библиотеки имени Ленина, машины для поливания улиц или, скажем, точное время по телефону — все это настраивает на определенный скептический лад, делает человека склонным к чтению фельетонов о суевериях и вообще всячески ограничивает его возможности. Мало, ах, как мало осталось у столичного жителя традиций в этом вот смысле. Ну разве что соль просыпать — к ссоре, да когда черная кошка дорогу перебежит, надо переплюнуть или задом наперед пройти. И никому невдомек, что на периферии-то он и сам мог бы стать точно такой же черной кошкой и все радости, связанные с этим кошачьим состоянием, испытать в полной мере. В провинции же и менструальная кровь — сырье для приворота, и без глупых усмешек слушают рассказ о том, как шурина председателя колхоза видели едущим на санях в церковь, а он в это время дома сидел, и над лешим не посмеиваются. Так что необычно в нашей истории только то, что котом обернулся не какой-нибудь дядя Исай, лесник, и не Аннушка-доярка, а сам первый секретарь, о котором такое просто в голову не придет. А между тем, разве первый секретарь — не человек? Разве и ему обернуться не хочется? Всем хочется...

4.

В Ново-Опрощенске сложилась напряженная и волнующая обстановка. Медынский и другие партийные руководители района вынуждены были временно отступить на второй план. Более того: они очутились в каком-то странном, даже несколько двусмысленном положении, так как работники орга-

нов, взявшие инициативу в свои руки, разговаривали со всеми крайне скупно и сугубо официально. А Медынский и его товарищи по партработе к такому тону не привыкли; и сейчас они даже как-то растерялись, когда их стали вызывать по одному для дачи показаний. Причем вызывал не сам начальник местного МГБ, а оперуполномоченный, с которым они вообще-то никогда дела не имели и который в их разговорах с начальником именовался не иначе, как "свои люди": "Ты, Иван Иванович, скажи своим людям, пусть займутся. Это что ж такое? Мы рекомендуем его в председатели, а они обструкцию устраивают!", "...получаю такой сигнал. Ну, я, конечно, даю команду своим людям — и что бы ты думал? Одних стихов пять тетрадок..." И вызывал их опер не по старшинству, а как-то непонятно: первым, например, вызвал райкомовского истопника, второй — тетю Клашу, уборщицу, Медынского — четырнадцатым, а секретаря райкома комсомола — двадцать третьим. Не то чтобы райкомовцы боялись чего-то или чувствовали себя в чем-то виноватыми, нет, просто сам факт вмешательства органов в эту непонятную историю делал близким и почти осязаемым понятием Государственности. А вам, читатель, приходилось ли встречаться с Государственностью? Думается, что человек, нос к носу столкнувшийся с Государственностью, должен испытывать то смешанное (как написал бы покойный Фадеев), то смешанное чувство благоговейного обожания, робости и умиления, какое испытывали паломничавшие полсотни лет назад в Ясную Поляну. Это чувство рождается, вероятно, из понимания сверхъестественности находящегося перед нами явления, его монументальности, его всеобъемлющей мощи, его всеведения. Разумеется, Государственности чужды те трещины и изъяны, которые были в творчестве Л.Н.Толстого; поэтому она, Государственность, и вызывает в большей степени удивление, нежели Лев Николаевич. Удивление же, как нам кажется, есть фактор, еще не оцененный по достоинству человечеством. На удивлении в значительной степени держатся такие институты, как худ-литература, изобразительное искусство; а если говорить о явлениях общественных, то одним лишь удивлением можно объяснить такие факты, как... Впрочем, мы отвлеклись в сторону.

Итак, что же было предпринято по поводу исчезновения Василия Сергеевича? Прежде всего, как уже было сказано, оп-

росили всех, кто так или иначе контактировал с пропавшим Гайдуковым накануне этой трагической ночи. После этого следствие разделилось на два русла: по первому двинулись те, которым было поручено изучить данные, так сказать, фактические, имевшие непосредственное касательство к месту и времени происшествия, — осмотр кабинета, здания райкома в целом и близлежащей местности. Результатом осмотра было то, что "Дело об исчезновении" переименовали в "Дело о похищении": в сейфе обнаружили одежду Гайдукова. Сразу же возникло множество гипотез, из которых наиболее вероятной была следующая: первый секретарь был похищен иностранной разведкой для ихних своекорыстных преступных целей. Эта версия объясняла все, кроме некоторых технических деталей: почему потребовалось похищать Гайдукова из его рабочего кабинета? зачем его раздели? как кабинет оказался запертым изнутри? Но поразмыслив и поставив себя на место преступников, нашли ответы: в кабинете с Гайдуковым было, конечно, легче справиться, чем на улице, где ему оказало бы поддержку население; раздели его для того, чтобы переодеть, ну хотя бы в спецодежду рабочего, и в этой одежде под видом пьяного увести куда угодно; ключ в двери, как объяснили специалисты, можно при помощи особой такой штуковины повернуть, стоя снаружи. Оставалось еще два вопроса: почему в кабинете не было следов борьбы и как проникли преступники в здание райкома? По первому вопросу должны были вскоре высказаться эксперты, которым представили на исследование недокуренную гайдуковскую папиросу, — весьма возможно, что она была начинена каким-нибудь усыпляющим ядом. Что же касается методов проникновения в райком, и более того — в кабинет первого секретаря, то как раз этим-то вопросом и занялись собственно работники органов: они сели проверять "личные дела".

5.

Мы оставили нашего героя в тот момент, когда он, осаждаемый собаками, сидел на дереве в кошачьем естестве. Дело в том, что Василий Сергеевич несколько увлекся своей прогулкой. Да и немудрено! В кои-то веки удалось вырвать часок-другой для личной жизни, подышать свежим воздухом, а при случае

спокойно пообщаться с соседними кошками. Это общение, помимо чисто физиологических радостей, было еще крайне ценно для Василия Сергеевича тем, что здесь его любили, к его мнению прислушивались, его общества искали не потому, что он был первым секретарем райкома, не в порядке субординации, не подхалимствуя, — такое еще, к сожалению, случается у нас. Нет, здесь, в этом простодушном кругу, никто даже и не догадывался о его другой, противоестественной ипостаси, Здесь знали его личные качества и ценили и любили его только за них. Иногда, правда, длительные его отлучки вызывали некоторое недоумение и даже томление плоти, но разум животных настолько ограничен, что предполагать и тем паче обобщать они не в состоянии. Тем более, что и слово-то “разум” употребляем мы больше по привычке, а на самом деле никакого разума у них вовсе и нет — одни рефлексy.

Так вот, Василий Сергеевич неосмотрительно отдался на волю одной старинной знакомой, и они настолько увлеклись прогулкой, что не заметили, как очутились в том дворе, которого следовало опасаться пуще огня. Тут жили две здоровенные собаки, бегавшие по двору свободно, без цепи. Спутница Василия Сергеевича успела перемахнуть через забор, а ему пришлось вихрем взлететь на дерево и до утра отсиживаться от надрывающихся собак.

Утром вышел хозяин. Василий Сергеевич знал его. Это был завуч средней школы Иван Владимирович Шеин, высокий и мускулистый мужчина лет тридцати пяти. Гайдуков изредка встречался с ним на райкомовских партийных конференциях и учительских совещаниях. Кроме того, он запомнил Шеина по последнему обсуждению школьных дел при райкоме, где Шеин очень толково и убедительно объяснил неуспеваемость по русскому языку наличием в педколлективе учителей нерусской национальности.

Шеин сразу оценил ситуацию. Он цыкнул на собак, подошел к дереву и заговорил — размеренно, плавно и благодушно:

— Ну, что же, любезный мой, твое бедственное положение есть не что иное как естественный результат твоей собственной неосторожности и, я бы сказал, твоего крайне легкомысленного отношения к тем территориальным ограничениям, которые являются неизбежным следствием того факта, что в нашей социалистической системе хозяйства предусмотрен и частновладельческий... м-м-м ...элемент. Да-с, предусмотрен.

Он доброжелательно посмотрел на Василия Сергеевича. Василий Сергеевич молчал.

— Я, пожалуй, протяну тебе руку братской помощи — но не безвозмездно, нет, отнюдь не безвозмездно...

Он действительно протянул руку Василию Сергеевичу, и тот, с облегчением вздохнув про себя, уцепился когтями за рукав.

— Для начала ты, голубчик, переловишь всех грызунов, которые чрезмерно расплодилось и стали уничтожать продукты питания, а затем...

Он снял Василия Сергеевича с ветки, взял его своей сильной рукой за шиворот и, любовно покачивая перед собой, закончил:

— ...а затем из тебя получится неплохая шапка...

На мгновение Василий Сергеевич утратил чувство реальности. Он хотел было произнести негромким, но значительным голосом:

— КОММУНИСТ ШЕИН, думайте, над КЕМ и над ЧЕМ можно шутить! — но тут же он опомнился и только зашипел, прижав уши.

— О, да тебя, кажется, не радует столь блестящая перспектива?! Конечно, будь ты человеком...

Будь он человеком! Будь он человеком, черт возьми! Он, Василий Сергеевич Гайдуков, первый секретарь, ценой длительных усилий и многомесячных трудов разоблачивший своего предшественника, он, умеющий забывать личное ради общественного, вожак района, знающий наизусть четвертую главу, обеспечивший стопроцентное голосование "за" на последних выборах, он — не человек? Он, ездивший в Ессентуки прошлым летом...

Шеин внес его на кухню и спустил на пол. Потом он налил в блюдечко теплого молока. Продрогший и проголодавшийся за ночь Гайдуков, ненавистно косясь на ухмылявшегося Шеина, стал лакать из блюдечка.

6.

Иван Владимирович Шеин был интеллигент новой формации. Он был рыболов-спиннингист, у него была свдя лодка и свое хозяйство, и женат он был на молодой и довольно мило-

видной женщине, окончившей высшие кулинарные курсы. Что бы там ни говорили, как бы ни косоротились его коллеги-учителя, а он сделал правильный выбор. В условиях районного центра, где снабжение иногда еще не на высоте, вопросы питания — и питания рационального — приобретают первостепенное значение. И кто же не завидовал втайне Шеину, когда он рассказывал о том, как, вернувшись домой после трудового дня, садится за ожидающий его обед, как после обеда пьет кофе перед камином. У него, собственно, не камин, а голландская печка, облицованная кафелем, но он любил говорить "камин". Он не был чужд новых веяний и один из первых в среде школьных работников стал надевать на работу клетчатые рубашки — ковбойки. А еще он интересовался индийской философией. Был он человек вежливый и в бытность свою в Москве всегда торопился занять место в троллейбусе, но не для того, чтобы сидеть на нем, а для того, чтобы уступить...

В доме Шеина Василию Сергеевичу пришлось задержаться. Его замкнули и никуда не выпускали. "Васенька" — звала его жена Шеина и даже не подозревала, насколько она права. Кормили его сытно и вкусно, и будь на месте Василия Сергеевича другой, обыкновенный кот, он бы просто благоденствовал. Но Василий Сергеевич помнил о том, кто он. Он знал, что незаменимых нет, и именно это-то его и беспокоило. Кроме того, он помнил и о судьбе, уготованной ему Шеиным. Он превратился из человека в кота, из кота — не по своей воле — мог превратиться в меховое изделие, и оттуда уже возврата не было. По крайней мере, ему никогда не приходилось слышать о подобных случаях. Надо было удирать.

К вечеру второго дня Шеин пришел домой необычайно возбужденный. Он наспех проглотил обед — так ему не терпелось рассказать новости. И когда жена, убрав тарелки со стола, поставила перед ним чашечку кофе, он сказал с расстановкой:

— Гайдуков пропал.

— Как пропал? Сняли его, что ли? — удивилась жена.

— Не в том смысле. Исчез, скрылся, пропал.

Услыхав свое имя, Василий Сергеевич подошел поближе — и зря. Шеин нагнулся и взял его к себе на колени. Он был так взволнован, что забыл о том, что сидит за столом, что это антигигиенично. Василию Сергеевичу пришлось терпеть почесы-

вания за ухом; он с отвращением замурлыкал, в то же время чутко прислушиваясь к рассказу Шеина. Из рассказа выяснилось, что известие об исчезновении первого секретаря распространилось уже по всему району, и Иван Владимирович не знал о нем раньше только потому, что накануне у него был свободный день.

Василий Сергеевич напряженно слушал рассказ Шеина. Дело, оказывается, зашло очень далеко. Надо немедленно что-то предпринимать. Но что? Двери в доме были снабжены безотказными запорами, форточки затянуты металлической сеткой; нет, в облиии кота отсюда выбраться не удастся. Василий Сергеевич, изловчившись, прыгнул на пол, сел посреди комнаты и внимательно осмотрел Шеина. Да, примерно так: 50-й, 3-й рост. Пожалуй, подойдет. Он еще смутно представлял себе, как это все получится, но медлить было нельзя. Как только Шеин уйдет куда-нибудь...

— Наташа, — промолвил Шеин, — я сейчас ухожу, вернусь, вероятно, поздно: у нас сегодня состоится педагогический совет.

Он встал, надел пальто с каракулевым воротником и шапку. На пороге он обернулся и посмотрел на Василия Сергеевича.

— Вот так, желтоглазый, — сказал он, — подкормись пока. А чтобы ты был послушным, мы тебя завтра лишим мужского естества, или, говоря языком науки, кастрируем...

Когда Шеин ушел, шерсть на Василии Сергеевиче стояла дыбом и хвост распушился, как у белки. Удивительно, между прочим, почему мысль об утрате этих вот специфических возможностей вызывает у нас такое негодование, такую, как говорят химики, бурную реакцию? Казалось бы, совершись это — и все будет в ажуре: меньше материальных затрат, сон по ночам спокойней, в сослуживицах будешь видеть только товарищей по работе, что, без сомнения, повысит трудовые показатели. А сколько непроизводительно потраченного времени освободилось бы для политучебы! Какие перспективы роста открылись бы! И все-таки большинство мужчин упорно держится за это самое. Странно все-таки: стоим в самом, так сказать, преддверии, и вдруг такой эгоизм.

Однако вернемся к нашему герою.

Когда жена Шеина заперла за ушедшим двери и стала при-

бирать со стола, Василий Сергеевич задумался: совершать ли превращение в присутствии женщины или удалиться в какое-нибудь укромное местечко? Поразмыслив, он решил уйти в спальню: может быть, там найдется что-нибудь, во что можно будет сразу одеться.

Он подошел к порогу, громко мяукнул, выгнув спину и потерся о косяк.

— А, Васенька, — сказала жена Шеина. — Гулять захотелось? Ну, иди, иди, — и открыла ему дверь.

Он прошел в спальню, прислушался. На кухне по-прежнему звякала посуда.

Он вышел на середину комнаты, сосредоточился и снова превратился в человека. Превратившись, он быстренько огляделся по сторонам. Увы, никакой одежды не было. Только домашние туфли Шеина аккуратно стояли на коврикe возле кровати. Василий Сергеевич надел туфли, но этого, разумеется, было явно недостаточно. Он подошел к зеркальному шкафу, подергал дверцу. Шкаф был заперт. Не без удовольствия покосившись на свое отражение ("Нет, товарищ педагог, не выйдет! И впредь будем функционировать!"), Василий Сергеевич сдернул с кровати одеяло и задрапировался на манер римских сенаторов. Теперь предстояло самое ответственное. Он откашлялся.

— Наташа! — сказал он громко. — Наталья, м-м-м, Семёновна! Зайдите сюда на минутку. Гайдуков беспокоит.

На кухне зазвенела разбитая чашка.

"Только бы шум не подняла," — тревожно подумал Василий Сергеевич.

Но жена Шеина оказалась человеком с крепкими нервами. Она не упала в обморок, не забилась в истерике, не стала звать на помощь. Услыхав, что в наглухо запертом доме есть кто-то посторонний, она, как львица, кинулась на защиту имущества. Сравнение, впрочем, не совсем точное, ибо какое у львицы имущество, кроме кисточки на хвосте? И, кидаясь на своих недоброжелателей, львица не берет с собой кочергу, а Шеина взяла. Но когда она рывком распахнула дверь, оружие выпало из ее рук и глухо брякнулось об пол. Завернувшись в байковое белое с зелеными цветочками одеяло и всунув ноги в домашние туфли мужа, перед ней стоял Василий Сергеевич Гайдуков, тот самый, о загадочном исчезновении которого только что рассказал ей муж.

— Боже мой! — воскликнула она.
— Мяу, — сказал первый секретарь, — то есть я не то...
— Что? — пролепетала Шеина.
— Простите, что я в таком виде, — сказал Василий Сергеевич. — Дело в том, что... Да вы присаживайтесь.

Шеина тихо охнула и села на стул.

— Боже мой, — сказала она, — а у меня не прибрано, — и она посмотрела на лишенную одеяла постель. Потом она робко спросила:

— Это вы, товарищ Гайдуков?

— Конечно, я, — с оттенком нетерпения в голосе ответил Василий Сергеевич.

Но она с каким-то суеверным ужасом смотрела на крупную желтую пятку Гайдукова, уверенно попиравшую стоптанный задник мужниной туфли.

Не торопитесь, читатель, осуждать ее за бестолковость, не спешите произносить несправедливые и к тому же давно уже осужденные общественностью поговорки о длинном бабьем волосе и коротком уме. Ведь в нашей действительности им нет места, и мы по праву можем гордиться такими именами, как Паша Ангелина, Антонина Коптяева и Лидия Тимашук. Попробуйте лучше поставить себя на ее место. Представьте, что вы сами увидели у себя дома крупного государственного деятеля, одетого в постельную принадлежность. Ведь само понятие "одеяло" никак не совместимо с высоким званием. Нам даже трудно представить себе, что люди, облеченные доверием и уважением народа, пользуются такими вещами. То есть, умом-то мы понимаем, что они и укрываются по ночам, и, простите за натурализм, белье носят, и пьют, и едят, и даже... Но сердцем, сердцем это постичь невозможно! Правильно сказал поэт: "Умом Россию не понять, в Россию можно только верить". И мы верим (и есть в этом глубокий смысл!), что высокому рангу соответствуют китель или, скажем, френч, а не какие-нибудь паршивые кальсоны или пододеяльник.

— Меня похитили, Наталья, э-э-э, Сергеевна, — сказал Гайдуков, — меня похитили враги народа и вбросили к вам в окно. Они хотели выпытать у меня сведения. Но я, конечно... Дайте-ка мне что-нибудь одеться.

— Да, да, сию минуту, — заторопилась Шеина. Она отперла

гардероб. — Вот здесь костюмы Ивана Владимировича, а в ящиках белье...

— И вот еще что. Сходите-ка за мужем. Пусть придет. И ни-ко-му ни слова. Помните: я вам доверяю государственную тайну.

А вам когда-нибудь доверяли государственную тайну? Мне — нет. Ни тайны, ни какого-нибудь там государственного секрета — ничего. И ни разу не брало меня начальство за пуговицу пальто или, скажем, пиджака и не говорило мне интимным голосом: "Слушай, Солодовникова-то... того... снимают! Только это не для распространения. Чтоб ни гу-гу!" И не отвечал я начальству, преданно глядя на него: "Да разве я не понимаю, Яков Петрович?! Могила!" Вы можете возразить мне: "А что, мол, такого уж важно-секретного Гайдуков сказал Шейной? Да и к тому же сказал он, как мы знаем, неправду!" Ах, дорогой вы мой! Мелко плавааете в этих делах, как я погляжу. Вот я, хоть и маленький, как говорится, винтик в системе народного образования, а я понимаю. Есть правда маленькая и ненужная, а есть правда величественная, грандиозная — масштабная правда! Так и тут. Первого секретаря райкома нагишом застали в чужой спальне. Это правда? Конечно правда; только зачем она нам нужна? И кому она на руку? То-то вот. Ничего, кроме обывательских разговорчиков да подрыва авторитета, от нее не будет. А взгляните-ка с другой стороны: враги у нас есть? Есть. Вредят они нам? Вредят. Должны мы с ними бороться? Должны. На пользу нам идет каждое известие о провалившихся замыслах врага? Еще бы! Вот она, настоящая-то правда — мобилизующая, перспективная, присущая только нам — советским людям.

Когда Шейна убежала за мужем, Василий Сергеевич оделся. Костюм Ивана Владимировича оказался ему почти впору, только брюки пришлось немного подвернуть. Василий Сергеевич причесался, погладил ладонью небритость, пожалел, что в доме нет папирос. Пока он был в предыдущем состоянии, ему, конечно, курить не хотелось.

Вскоре прибежали Шейны.

С Шейным Василий Сергеевич разговаривал уже иначе: он был одет. Он сказал:

— Товарищ Шейн! Ваша жена вам, конечно, уже изложи-

ла причины моего... прихода к вам. Могу добавить: я рад, что попал в дом к члену партии.

— Товарищ Гайдуков! — сказал Шеин проникновенно. — Василий Сергеевич! Я заверяю вас, что понимаю ответственность. Печальные обстоятельства, в которые вы попали... Вражеская вылазка... Я неоднократно указывал директору школы на необходимость бдительности, но он, увы, не всегда на высоте... Можете на меня положиться.

— Сейчас вы проводите меня домой — я переоденусь. И вот что запомните: вы подобрали меня в бессознательном состоянии около дома — не в доме, а около — понятно? И вы, Наталья Савельевна, то же самое скажете, если спросят. Так надо.

Когда Гайдуков и Шеин ушли, Наталья Семеновна, тихонько вздыхая и часто прерывая работу, принялась за уборку. Мужественная пятка первого секретаря так и стояла у нее перед глазами. И уже много позже она вспомнила о пропавшем в суматохе коте.

7.

Расширенное заседание бюро райкома было в разгаре. Вел заседание Медынский. За три дня отсутствия Гайдукова вопрос с руководством прояснился. Был звонок сверху. Медынскому предложили принять дела и сказали, что в течение ближайших двух-трех месяцев он будет осуществлять руководство, возглавлять район, и если он покажет себя, то возможно... Вячеслав Афанасьевич был в отличном настроении. Его суровое лицо выражало и сдержанную скорбь по безвременно ушедшему от нас Гайдукову, и сознание значительности переходного периода, и вполне понятное уважение к занимаемому им — хотя бы и временно — положению. Уже присутствовавшие на заседании ласкали глазами его коренастую, по-военному подтянутую фигуру, уже мелькнул несколько раз оборот: "под личным руководством Вячеслава Афанасьевича", уже секретарь райкома комсомола как бы невзначай обмолвился выражением "новые горизонты". И вдруг...

Ох, это самое "вдруг"! Ни один повествователь не избежит этого словечка. Да и как избежать, если мы хотим быть

верны принципам соцреализма, если мы, как нам заповедано Фридрихом Энгельсом и Максимом Горьким, стремимся к изображению типических героев в типических обстоятельствах?! Ведь из этих "вдругов" вся наша жизнь состоит. В д р у г вбегает жена и говорит: "Дай скорее деньги! В угловом подсолнечное дают! Надо бежать, а то в д р у г кончится!.." В д р у г приезжает комиссия из облОНО... В д р у г разрешили аборт... В д р у г запретили коров... В д р у г министра культуры сняли... Никуда от "вдругов" не денешься. Так вот и сидишь, и ждешь, и подчас даже как-то недоумеваешь: а чего еще произойти может? Это, наверное, от недостаточного знания законов диалектики. Конечно, там сказано: "Развивается по спирали". Если бы еще знать заранее, куда эту самую спираль загнет? А вдруг...

Так вот: вдруг растворилась дверь и вошел Гайдуков. Все обмерли, а говоривший в этот момент предрайисполкома задвигал челюстью вхолостую, беззвучно. А Василий Сергеевич, как ни в чем не бывало, прошел на свое место (оно как-то само собой оказалось свободным от Медынского), сел, постучал карандашом и сказал:

— ...продолжайте, товарищ Боровицкий.

И Боровицкий стал продолжать. Он говорил еще пять минут и закончил:

— ...услышать мнение товарищей.

После этого обычно выступал Гайдуков. Вот и теперь он откашлялся и сказал:

— Товарищи! Вопрос о ремонте больницы надо поставить с головы на ноги. Тут товарищ Боровицкий приводил нам цифры — не знаю, откуда он их взял...

— Василий Сергеевич! Мы с заврайздравом считали!

— Плохо считали, товарищ Боровицкий! Не по-партийному, не по-большевистски считали! Не по линии увеличения количества коек надо идти, а по линии уменьшения количества заболеваний. Кадры, кадры надо подбирать как следует. Мы не можем доверять здоровье трудящихся случайным людям. Врач должен быть как стеклышко! И еще относительно темпов. Вся страна работает в счет будущей пятилетки, а они там у вас в больнице с каждым пациентом по часу возьмется! Если врач не может обойтись двумя-тремя... двумя-тремя... в две-три ми-

нуты не может справиться, то грош ему цена! В больнице нужен здоровый коллектив, дружная медицинская семья...

Тут Гайдуков остановился, помотал головой, и присутствовавшие увидели, как округляются его глаза, шерстью и усами обрастает лицо, как руки, темнея, втягиваются в рукава и просторным, почти порожним становится костюм. Несколько секунд китель еще сохранял контуры человеческого тела, а потом рухнул в кресло. И в то же мгновение кот, большой серый кот прыгнул на стол, заваленный деловыми бумагами. Все повскакивали с мест. Раздались крики ужаса и возмущения:

— Что это?

— Откуда?

— Гоните его!

— А где же...

— Мяу!!! — прогремел кот и обернулся человеком. Еще не осознав до конца катастрофичности происшедшего, Гайдуков, голый, стоя в полный рост на столе, сказал:

— ...и мы обязаны нацелить наш медперсонал на всемерное улучшение. Человек — наша главная ценность, и мы... мяу!

И он опять стал котом. Партработники бросились к дверям. Но даже уязвленные в самые глубины своих атеистических душ, они успели заметить, что на этот раз в коте было больше человеческого, нежели в предыдущий: так, на кошачьей морде мяукал и артикулировал вполне человеческий рот, и одна из четырех конечностей была не лапой, а рукой.

— Недоперевоплощение! — крикнул заврайоно и последним выскочил в коридор.

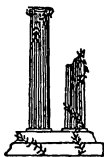
8.

— Да, товарищ редактор, это, собственно, все, что я знаю об этом происшествии... Да, при мне, я тогда уже работал в Ново-Опрощенске... Ну, кое-что я сам видел, а частично мне рассказали... Нет, источники, вполне заслуживающие доверия... Да, пришлось немножко воссоздать, так сказать, реконструировать. Понимаете, я не собирался писать, но тут у нас в школе решили провести "Вечер истории ново-опрощенской партор-

ганизации", и я стал готовиться к вечеру, и вот — написал. Перечел потом и вижу: вроде художественного произведения получилось. Ну, я так подумал: за идейную сторону я спокоен, факты проверить можно, вот только слог — ну, это, я думаю, вы поможете?.. Что я как преподаватель биологии об этом думаю? Я думаю, у него было нервное потрясение, и механизм перевоплощения испортился, забуксовал, знаете, как на стертой пластинке игла крутится?.. Самый факт? А почему бы и нет? Непознаваемого не существует, есть только непознанное... Шеин? Он теперь директор школы, начальство мое... Медынского, Медынского утвердили, Вячеслава Афанасьевича. Очень хороший руководитель. При нем ни одной бродячей кошки в районе не осталось. Очень за порядком следит... Гайдуков-то? Так и исчез. После того случая военные зашли в кабинет, и что дальше было, никто не знает. Одни говорят, его в другой район перевели и на низовку бросили, а другие — что он так и остался половина-наполовину, вроде кентавр. ...Я лично думаю, что у него все в норму вошло, и он теперь может снова туда и обратно превращаться... Почему я так думаю? Дело в том, что... между нами, конечно: есть слухок, что его в Москву перевели, и сейчас он там работает по специальности — в органах. Понимаете?

— Ой, кто, кто это там шевелится?! Вон, вон там, за креслом?! Тьфу ты, проклятый, напугал! Брысь!!!





Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Вып.7. 500 стр.

Публикации материалов по русской истории XIX-XX вв.:

Воспоминания: М.Л. Свирской — о нелегальной работе ПСР в 20-е годы, о дружбе с С.Есениным и З.Райх; М.В. Канивез (вдовы Ф.Ф. Раскольниковы) — о советских дипломатических миссиях в Эстонии и Болгарии; О.Тиифа (последнего премьер-министра независимой Эстонской Республики).

К истории социалистических партий: Письма Е.М. Тимофеева из ссылки; документы ПСР времен революции и гражданской войны; интервью с меньшевиком Я.Мееровым.

Из истории партийной оппозиции: Письма ссыльных большевиков (Радек, Смирнов, Преображенский, Сосновский и т.д.).

Из истории «малой зоны»: Очерк И.Гольца о системе принудительного труда на воркутинских угольных шахтах; воспоминания О.Волина о ведущих сотрудниках Л.П. Берии, ставших сокамерниками автора во Владимирской тюрьме.

Из истории образования: Воспоминания М.Стоюниной; материалы о педагогической деятельности И.Анненского; письма В.И. Вернадского; беседа с П.Шарией (бывшим секретарем по идеологии Грузинского ЦК).

В мягкой обложке — 150 фр.фр.

В твердом переплете — 195 фр.фр.

Продается в издательстве Atheneum
и во всех магазинах русской книги.

ABC



Éditions

ATHENEUM

10 bis, rue Duhesme 75018 Paris
Tél. : 42.62.14.21

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Вып.6. 450 стр.

Публикации материалов по русской истории XIX-XX вв.:

Воспоминания М.Н. Жемчужниковой о Московском антропософском об-ве; А.А. Ванеева — о последних годах жизни Л.П. Карсавина и Н.Н. Пунина.

Из наследия отечественной философии: неизданные работы В.В. Розанова, М.И. Кагана, А.А. Мейера, Н.О. Лосского; письма М.О. Гершензона к Л.Шестову; исследование о взаимоотношениях П.А. Флоренского и М.А. Волошина и мемуарный фрагмент о Флоренском из рукописи воспоминаний о МДА.

К истории антропософии в России: неизданные дневники и письма А.Белого.

Рецензии, дополнения: исследование Л.Черняка о западном восприятии советской философии; неизданное письмо В.Ф.Ходасевича и др. материалы.

В мягкой обложке — 150 фр.фр.

В твердом переплете — 195 фр.фр.

В издательстве "СИНТАКСИС"
выходит:

АБРАМ ТЕРЦ

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

Третье издание

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Барселона: La Perestroika	3
<i>К. Любарский.</i> Перестройка и эмиграция	4
<i>А. Стреляный.</i> Постепенность — самоцель?	17
Из выступлений:	
В. Коротич	16
Ю. Карякин	16
Н. Шмелев	22
В. Чалидзе	24
В. Страда	25
З. Млынарж	27

ДРУГИЕ БЕРЕГА

<i>Зин. Зиник.</i> На обратном пути	29
---	----

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

<i>С. Харламов.</i> Дело Тухачевского: мифы и реальность	43
--	----

ИЗБРАННОЕ

<i>И. Померанцев.</i> Всклипы по углам	95
<i>И. Меттер.</i> Из записной книжки	104
<i>В. Петрушевская.</i> Опять двадцать пять	112

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

<i>П. Вайль, А. Генис.</i> Попытка к бегству	116
<i>А. Битов.</i> Из цикла "Погребение заживо"	132
<i>А. Куник.</i> Василий Аксенов на "панели"	153

ПАМЯТИ ДАНИЭЛЯ

<i>А. Синяевский, Ю. Даниэль.</i> Диалог	168
<i>А. Френдли.</i> Спокойная совесть Юлия Даниэля	175
<i>Ю. Даниэль.</i> В районном центре	179



Цена номера 65 фр.фр.
Подписка в редакции на 4 номера — 240 фр.фр.
Пересылка за счет подписчика.

